

ПАМЯТНИКИ ЛИТЕРАТУРЫ

Андрей
ПЛАТОНОВ

собрание рассказов
том 8



IM WERDEN VERLAG
МЮНХЕН 2005

СОДЕРЖАНИЕ

ПРИКЛЮЧЕНИЕ	3
БЕССМЕРТИЕ	7
СТАРЫЙ НИКОДИМ	18
БОЙ В ГРОЗУ	21
НА ДОБРОЙ ЗЕМЛЕ.....	24
ПРОРЫВ НА ЗАПАД.....	29
МОЛОДОЙ МАЙОР	31
Примечания к рассказу «Бессмертие».....	47

Печатается по изданиям:

Приключение: Платонов А. П. Избранные произведения: Рассказы. Повести. — М.: Мысль, 1983.

Бессмертие: Платонов А. П. «Котлован». Избранная проза. М., Книжная палата, 1988.

Остальные рассказы: Андрей Платонов. Одухотворенные люди. М., Правда, 1986.

© Андрей Платонов (наследники)

© «Im Werden Verlag». Некоммерческое электронное издание. Мюнхен. 2005

<http://imwerden.de>

ПРИКЛЮЧЕНИЕ

Перед глазами Дванова, привыкшими к далеким горизонтам, открылась узкая долина какой-то древней, давно осохшей реки. Долину занимала слобода Петропавловка — огромное стадо голодных дворов, сбившихся на тесном водопое.

На улице Петропавловки Дванов увидел валуны, занесенные сюда когда-то ледниками. Валунные камни теперь лежали у хат и служили сиденьем для задумчивых стариков.

Эти камни Дванов вспомнил, когда сидел в Петропавловском сельсовете. Он шел туда, чтобы ему дали ночлег и чтобы написать статью в губернскую газету. Дванов написал, что природа не творит обыкновенного, поэтому у нее выходит хорошо. Но у природы нет дара, она берет терпением. Из редких степных балок, из глубоких грунтов надо дать воду в высокую степь, чтобы основать в степи социализм. Охотясь за водой, сообщал Дванов, мы одновременно попадем в цель своего сердца — нас поймут и любят равнодушные крестьяне, потому что любовь не подарок, а строительство.

Дванов умел интимное соединять с общественным, чтобы сохранить в себе влечение к общественному.

Дванова начала мучить уверенность, что он уже знает, как создать социалистический мир в степи, а ничего еще не исполняется. Он не мог долго выносить провала между истиной и действительностью. У него голова сидела на теплой шее, и что думала голова, то немедленно превращалось в шаги, в ручной труд и в поведение. Дванов чувствовал свое сознание, как голод, — от него не отречешься и его не забудешь.

В подводе Совет отказал, и мужик, которого все в Петропавловке звали богом, указал Дванову дорогу на слободу Каверино, откуда до железной дороги двадцать верст.

В полдень Дванов вышел на нагорную дорогу. Ниже лежала сумрачная долина тихой степной реки. Но видно было, что река умирала: ее пересыпали овражные выносы, и она не столько текла, сколько расплывалась болотами. Над болотами стояла осенняя тоска. Рыбы спустились ко дну, птицы улетели, насекомые замерли в щелях омертвелой осоки. Живые твари любили тепло и раздражающий свет солнца, их торжественный звон сжался в низких норах и замедлился в шепот.

Дванов верил в возможность подслушать и собрать в природе все самое звучное, печальное и торжествующее, чтобы сделать песни — мощные, как естественные силы, и влекущие, как ветер. В этой глуши Дванов разговорился сам с собой. Он любил беседовать один в открытых местах. Беседовать самому с собой — это искусство, беседовать с другими лицами — забава. Оттого человек идет в общество, в забаву, как вода по склону.

Дванов сделал головой полукруг и оглядел половину видимого мира. И вновь заговорил, чтобы думать:

«Природа — основа дела. Эти воспетые пригорки и ручейки — не только полевая поэзия. Ими можно поить почву, коров и людей и двигать моторы».

В виду дымов села Каверино дорога пошла над оврагом. В овраге воздух сгустился в тьму. Там существовали какие-то мочаливые трясинны и, быть может, юти-

лись странные люди, отошедшие от разнообразия жизни для однообразия задумчивости.

Из глубины оврага слышалось сопенье усталых лошадей. Ехали какие-то люди, и кони их вязли в глине.

Молодой отважный голос запел впереди конного отряда.

Есть в далекой стране,
На другом берегу,
Что нам снится во сне,
Но досталось врагу...

Шаг коней выправился. Отряд хором перекрыл переднего певца, но по-своему и другим напевом.

Кройся, яблочко,
Спелым золотом,
Тебя срежет Совет
Серпом-молотом...

Одиноким певец продолжал в разлад с отрядом:

Вот мой меч и душа,
А там счастье мое...

Отряд смял припевом конец куплета:

Эх, яблочко,
Задушевное,
Ты в паек попадешь, —
Будешь прелое...
Ты на дереве растешь
И дереву кстати,
А в Совет попадешь
С номером-печатью...

Люди враз засвистали и кончили песню напропалую:

И-эх, яблочко,
Ты держи свободу:
Ни Советам, ни царям,
А всему народу...

Песня стихла. Дванов остановился, интересуясь шествием в овраге.

— Эй, верхний человек! — крикнули Дванову из отряда. — Слазь к безначальному народу!

Дванов оставался на месте.

— Ходи быстро! — звучно сказал один густым голосом, вероятно, тот, что запевал. — А то считай до половины — и садись на мушку!

Дванов не сообразил, что ему надо делать, и ответил, что хотел:

— Выезжайте сами сюда — тут суше! Чего лошадей по оврагу морите, кулацкая гвардия!

Отряд внизу остановился.

— Никиток, делай его насквозь! — приказал густой голос.

Никиток приложил винтовку, но сначала, за счет бога, разрядил свой угнетенный дух:

— По мошонке Иисуса Христа, по ребру богородицы и по всему христианскому поколению — пли!

Дванов увидел вспышку напряженного беззвучного огня и покатился с бровки оврага на дно, будто сбитый ломом по ноге. Он не потерял ясного сознания и, когда катился вниз, слышал страшный шум в земле, к которой на ходу прикладывались поочередно его уши. Дванов знал, что он ранен в правую ногу — туда впились железная птица и шевелилась колкими остями крыльев.

В овраге Дванов схватил теплую ногу лошади, и ему стало нестрашно у этой ноги. Нога тихо дрожала от усталости и пахла потом и травой пройденных дорог.

— Страхуй его, Никиток, от огня жизни! Одежда твоя.

Дванов услышал. Он впились в ногу коня обеими руками, нога превратилась в напирющее живое тело. У Дванова сердце поднялось к горлу, он вскрикнул в беспмятстве того ощущения, когда жизнь из сердца переселяется на кожу, и сразу почувствовал облегчающий, удовлетворительный покой. Природа не упустила взять от Дванова то, зачем он был создан: семя размножения. В свою последнюю пору, обнимая почву и коня, Дванов в первый раз узнал гулкую страсть жизни и удивился ничтожеству мысли перед этой птицей бессмертия, коснувшейся его обветренным трепещущим крылом.

Подошел Никиток и попробовал Дванова за лоб: тепел ли он еще? Рука была большая и горячая. Дванову не хотелось, чтобы эта рука скоро оторвалась от него, и он положил на нее свою ласкающую ладонь. Но Дванов знал, что проверял Никиток, и помог ему:

— Бей в голову, Никита. Расклинивай череп скорей!

Никита не был похож на свою руку — это уловил Дванов, — он вскрикнул тонким паршивым голосом, без соответствия покою жизни, хранившемуся в его руке.

— Аи ты цел? Я тебя не расклиню, а разошью: зачем тебе сразу помирать — аи ты не человек? Помучайся, полежи — спрехвала помрешь прочней!

Подошли ноги лошади вождя. Густой голос резко осадил Никитка:

— Если ты, сволочь, будешь еще издеваться над человеком, я тебя самого в могилу вошью. Сказано — кончай, одежда твоя. Сколько раз я тебе говорил, что отряд не банда, а анархия!

— Мать жизни, свободы и порядка! — сказал лежачий Дванов. — Как ваша фамилия?

Вождь засмеялся.

— А тебе сейчас не все равно? Мрачинский!

Дванов забыл про смерть. Он читал «Приключения современного Агасфера» Мрачинского.

— Вы писатель! Я читал вашу книгу. Мне все равно, только книга ваша мне нравилась.

— Да пусть он сам обнажается! Что я сдохлым буду возиться — его тогда не повернешь! — соскучился ждать Никита. — Одежда на нем в талию, всю порвешь, и прибытка не останется.

Дванов начал раздеваться сам, чтобы не ввести Никиту в убыток: мертвого действительно без порчи платья не разденешь. Правая нога заостенела и не слушалась поворотов, но болеть перестала. Никита заметил и товарищески помогал.

— Тут, что ли, я тебя тронул? — спросил он, бережно взяв ногу Дванова.

— Тут, — сказал Дванов.

— Ну, ничего, — кость цела, а рану салом затянет, ты парень не старый. Родители-то у тебя останутся?

— Останутся, — ответил Дванов.

— Пущай остаются, — говорил Никита. — Поскучают и забудут. Родителям только теперь и поскучаться! Ты — коммунист, что ль?

— Коммунист.

— Дело твое: всякому царства хочется!

Вождь молча наблюдал. Остальные анархисты возились у коней и закуривали, не обращая внимания на Дванова и Никиту. Последний сумеречный свет погас над оврагом, — наступила очередная ночь.

— Так вам понравилась моя книга? — спросил вождь.

Дванов был уже без плаща и без штанов. Никита клал их в свой мешок.

— Я уже сказал, что да, — подтвердил Дванов и посмотрел на преющую рану на ноге.

— А сами-то вы сочувствуете идее книги — вечному анархизму, так сказать, бродячей душе человека? — допытывался вождь.

— Нет, — заявил Дванов. — Идея там чепуховая, но написана книга сильно. Так бывает. Вы там глядели на человека, как обезьяна на Робинзона: понимали все наоборот, и вышло замечательно.

Вождь от удивления привстал на седле:

— Это интересно... Никиток, мы возьмем коммуниста до Лиманного хутора, там его получишь сполна.

— А одёжа? — огорчился Никита.

Помирился Дванов с Никитой на том, что согласился доживать голым.

Вождь не возражал и ограничился указанием Никите:

— Смотри, не испорть мне его на ветру! Это — большевистский интеллигент, редкий тип!

Отряд тронулся. Дванов схватился за стремя лошади Никиты и старался идти на одной левой ноге. Правая нога сама не болела, но если наступить ею, то она чувствует снова выстрел и железные остья внутри.

Овраг шел в глубь степи, суживался и поднимался. Тянуло ночным ветром, голый Дванов усердно подскакивал на одной ноге, и это его грело.

Никита хозяйственно перебирал белье Дванова на седле.

— Обмочился, дьявол! — сказал без злобы Никита. — Смотрю я на вас: прямо как дети малые! Ни одного у меня чистого не было: все моментально гадят, хоть в сортир их сначала посылай... Только один был хороший мужик, комиссар волостной: бей, говорит, огарок, прощайте, партия и дети. У того белье осталось чистым. Вразумительный мужик!

Дванов представил себе этого вразумительного мужика и сказал Никите:

— Скоро вас расстрелявать будут — со всем, с одеждой и бельем. Мы с покойников не одеваемся.

Никита не обиделся.

— А ты скачи, скачи знай! Балакать тебе время не пришло. Я, брат, подштанников не попорчу, из меня не высосешь.

— Я глядеть не буду, — успокоил Дванов Никиту. — А замечу — так не осужу.

— Да я и не осуждаю, — смутился Никита. — Мне что? Мне товар дорог.

До Лиманного хутора добрались часа через два. Пока анархисты ходили говорить с хозяевами, Дванов дрожал на ветру и прикладывался грудью к лошади, чтобы согреться. Потом стали разводиться лошадей, а Дванова оставили одного. Никита, уводя лошадь, сказал ему:

— Девайся, куда сам знаешь. На одной ноге не ускачешь.

Дванов подумал скрыться, но сел на землю от немоги в теле и заплакал в деревенской тьме. Хутор совсем затих, бандиты расселились и легли спать. Дванов дополз до сарая и залег там в просяную солому. Всю ночь он видел сны, которые переживаешь глубже жизни и поэтому не запоминаешь. Проснулся он в тишине долгой устоявшейся ночи, когда, по легенде, дети растут. В глазах Дванова стояли слезы от плача во сне. Он вспомнил, что сегодня умрет, и обнял солому, как живое тело.

Он снова уснул.

Никита утром еле нашел его и сначала решил, что Дванов мертв, потому что он спал с неподвижной сплошной улыбкой. Но это казалось оттого, что не улыбающиеся глаза Дванова были закрыты. Никита смутно знал, что у живого лицо полностью не смеется: что-нибудь в нем всегда остается печальным, либо глаза, либо рот.

БЕССМЕРТИЕ

После полуночи, на подходе к станции Красный Перегон, закричал и заплакал паровоз ФД. Он пел в зимней тьме глубокой силою своего горячего живота и затем переходил на нежное, плачущее человеческое дыхание, обращаясь к кому-то безответному. Умолкнув на краткое время, ФД опять пожаловался в воздух, причем в его сигнале уже можно было разобрать человеческие слова, и тот, кто слышал их сейчас, должен почувствовать давление своей совести, потому что машина мучилась — на материнском крюке ее тендера висел беспомощный, тяжеловесный состав, а на входном светофоре был сделан красный сигнал. Механик закрыл последнюю отсечку пара — сигнал ответил устойчиво — и дал три гудка остановки. Он достал красный платок и вытер лицо, которое ночной зимний ветер все время покрывал слезами из глаз. Зрение человека начало слабеть, сердце стало чувствительным: машинист пожил на свете, поездил по земле. Он не выругался в тьму на станционных дураков, хотя ему предстояло брать с подъема в упор две тысячи тонн и бандажи паровозных колес будут выбирать своим трением огонь из замерзших рельс.

— Жалко будить Эммануила Семеновича, но придется, — прошептал механик самому себе.

Будка машины содрогалась от мелкой вибрации. Помощник форсировал топку, держа давление в котле до отказа. Клапан баланса то рычал в воздухе паром, то переставал, когда через инжектор приходилось осаживать давление.

— Но придется! — сказал машинист и взял в руку поводок сирены. Машина опять закричала, запела, заплакала в темную ночь зимы, грозя и жалуясь.

В перерывах между своими сигналами машинист слышал, как где-то в дальнем колхозе забрехали собаки, которых, вероятно, обеспокоил паровоз, а в Перегоне запели петухи станционных служащих.

Теперь в пространстве звучал целый хор голосов: паровоза, петухов и собак...

В одном пристанционном доме, в девичьей комнате, проснулась молодая женщина. Она прислушивалась к голосу знакомого паровоза: она знала все машины перегонского депо по отдельности, как людей с разным характером. Она была домашней работницей начальника станции, и транспорт касался ее интересов.

— Либо тормоза захватило! — заговорила кухарка для себя. — Либо другое сказилось что, а бис-автоматчик спит!.. Ну что ж это такое: ну не мученье, ну не разложение это делается, — все сердце болит от гадюк!..

Она, босая, подошла к закрытой спальне Эммануила Семеновича, чтобы сказать ему о паровозе, который кричит с Перегона. Но в комнату она не вошла, она услышала, что ее хозяин уже говорит по телефону с диспетчером.

— Это ты, Мищенко?.. Чего вы четыреста третий держите на входе?..

Мищенко что-то говорил оттуда в телефон, кухарка стояла за дверью спальни начальника станции.

— Хорошо, принимайте скорее! — сказал Эммануил Семенович. — Утром я найду виноватого... Отчего я не сплю? Нет, я сплю, но мне снится, что у вас происходит... Обожди минуту! Послушай горку!..

Кухарка Галя тоже прислушалась. С другого направления, не там, где кричал поездной ФД, слышались теперь жалобные гудки второго паровоза.

— Слышишь? — спросил в телефон начальник. — Скомандуй на горку, чтоб тормоза отдали: горочный поезд не может осадить состава!

Эммануил Семенович положил трубку. Паровозы перестали кричать. Галя отошла от двери обратно к себе и легла в постель. В парке отправления нормально и негромко посвистывал маневровый паровоз. Она слышала, как катились вагоны по морозным рельсам и затем с силою бились дисками буферов о другие вагоны.

— Кто там хулиганит на маневрах? — опять закричал в телефон хозяин из своей спальни. — Почему вагоны на башмак не принимают?.. Где транзитный состав из левого парка, отчего я его не слышу? Ему ведь время быть!

Он умолк; ему отвечали по обратной связи.

— Проверьте и позвоните! — сказал Эммануил Семенович. Если там будет так тихо, я все равно уснуть не могу... Что? Нет: я дремать буду. Пусть паровозы свистят, тогда я засну. До свиданья!

Галина вздохнула на своей постели:

— Ну не демоны, не чертячьи это остатки!.. Скажусь-ка я наркому про такую жизнь — напишу ему открытку: нехай негодный народ попеняет, чтобы спать хозяину в сутки давали...

Большое тело Галины болело по транспорту, потому что все люди на станции Красный Перегон, которые были ей симпатичны, тоже тратили свое сердце на железную дорогу. Сперва, когда Галина узнала такую жизнь, она решила; меня несколько то не касается, откуда люди беду себе в душу пускают, — я пешком буду жить, а грузную тяжесть за плечами унесу, — мне что паровоз, что вагон, ничто ни к чему, — я ведь женщина — девка такая!

Однако Гале вскоре же нечем стало жить: ни для сердца, ни для симпатии, ни для думы не находилось никакого применения, поскольку она хотела существовать пешей в одиночку, а еду носить в котомке за спиной. И тогда, склонившись в силу жизни к людям, она стала разделять их участь и тревогу, а пешей жить, хоть и могла, но не хотела, не стало интереса.

Она долго еще не спала, согреваясь собственным теплом под одеялом от работы своего мощного сердца.

— Ух, ветряка-враг сейчас дует в степи по путям! — думала она. — Люди говорят, от холода рельсы пополам трескаются... Не то нынче треснут, не то нет! Пускай бы уж нет, а то погрузки не будет, Эммануил Семенович опять похудеет... Завтра надо ему сметаны купить. Чегой-то колхозники возить ее мало стали, сами лопают, зажиточные черти, ишь, морды какие в степях живут! — Галя вспомнила лица знакомых колхозников. — Обрадовались теперь, а раньше, бывало, такие личности казали: одна худоба да чуждость, — мы — селянство! Так бы и вдарила теперь каждого врозь за прежнее. Класс на класс хотели! Я тебе дам класс! Вон он класс, — Галя сделала слабое движение туловищем в сторону комнаты начальника станции, — он спит и слышит...

Сама Галя тоже была колхозница-господарка, однако сердце ее не лежало к одному лишь родному и милому колхозу; это для нее представляло мало радости — масштаб мал.

Она уснула. Телефон молчал над постелью ее хозяина; хозяин тоже спал, и тело его, привыкшее к краткому отдыху, поскорее, поспешно набиралось сил, — сердце обмерло в глубине груди, дыхание сократилось, поддерживая лишь дежурное тление жизни, каждый мускул и каждая жила в тайне потягивалась, борясь с уродством, с морщинами дневного напряжения. Но во тьме ума, обильно орошаемого кровью, светила одна дрожащая точка, она блестела сквозь сумрак полуприкрытых веками глаз — точно горел светильник на удаленном посту, на входной стрелке главного пути из действительности, и этот кроткий огонь каждое мгновение мог превратиться в обширное сияние всего сознания и пустить сердце на полный ход.

Наутро Галина взяла котомку начальника станции и пошла на базар. Сколько раз она хотела выбросить эту ветхую, старинную котомку, неудобную, сшитую давно, в старинные года, из кусков юфти и украинского полотна; не однажды Галина латала эту сумку-котомку, и все же она была дурна. Раньше с такими котомками ходили дальние нищие, но и те перестали. Однако Эммануил Семенович любил эту котомку; он с ней прожил в мире всю свою жизнь, исходил и проездил по земле сто тысяч километров или больше, она была его единственным имуществом, в детстве, в юности и в зрелом возрасте — на родине в Черкассах, в уссурийской тайге, под Москвою и здесь, в Перегоне. Он странствовал с этой котомкой, и она нигде не полнела от богатства, — только окружающее государство добрело от товаров, от многолюдства, от движений тучных поездов. Казалось, что из этой котомки, из рук человека, который ее носит, выходит добро, но сама котомка всегда была пустой.

Вернувшись с базара, Галина уже не застала хозяина: зато около двери закрытой квартиры она встретила составителя поездов Полуторного, который пришел к начальнику станции посоветоваться, где достать петуха для его плимутроковских кур. Галя велела ему пропасть с ее глаз.

— До свиданья, — сказал Полуторный. — Пойду сейчас в кабинет к товарищу Левину Эммануилу Семеновичу. Скажу ему, чтоб хамок у себя не держал, а то персонал оскорбляют, настроенье кадрам портят...

— Ступай, заплачь! — заговорила Галя. — Привыкли, чтоб государство — советская власть — танцевало перед вами, — я вам не она!..

— А что ж ты, раз ты не она? — спросил Полуторный. — Контр, что ль?

— Он! — согласилась Галя.

В кабинет Левина Полуторный попал не сразу, там шло диспетчерское совещание. Потом Эммануил Семенович сам вышел к Полуторному. Составитель сказал, что он не знает как быть и круглые сутки тоскует, у кур его нету подходящего, достойного петуха; куры те особые, несутся круглый год и теперь мечутся, кричат без петуха, а некоторые уж летать приучились, — высоко поднимаются в воздух, как форменные птицы, и оттуда кудахчут. Сумасшествие природы!

Левин молча глядел в лицо Полуторного: чем только не живет на свете человек, даже курами и петухами может питаться его душа, и в птичьем надворном хозяйстве его сердце находит себе утешение!

— Понимаю, — тихо сказал Левин. — Я знаю одного куровода в Изюме, он мой знакомый... Сейчас напишу тебе записку к нему — в выходной съездишь. Если у него плимутроков нет, тогда он тебе скажет, где их достать. У него есть друзья среди куриных специалистов. Я все это ему напишу...

Говоря, Левин склонился к столу и уже писал.

Полуторный ушел. Он был доволен: пускай его баба-жена займется курами, а им перестанет заниматься. Была бы одна его воля, он давно бы пожарил всех кур на закуску к наливке... Но жизнь его шла косо: приходилось одними и теми же руками

сцеплять большегрузные вагоны и щупать кур, мелкую бабью тварь. Полуторный решил и об этом поговорить как-нибудь с товарищем Левиным, пока его душа окончательно не испортилась от жены и не пропала кадровая ценность. Эх, жизнь, когда ты организуешься, чтоб уж не чуют тебя!

Левин попробовал бумаги на своем столе — отношения, рапорты, сведения, ведомости, на седьмом пути свалили вагон, контрольный пост все еще держит поезда... Самому нельзя сделать работу тысячи человек; его система предварительных извещений о прибывающих поездах дает пока слабую пользу. Всякая система работы лишь игра одинокого ума, если она не прогревается энергией сердца всех работников. Здесь, в Перегоне, ему тоже придется проникать внутрь каждого человека, мучить и трогать его душу, чтоб из нее выросло растение, цветущее для всех.

Левин робко улыбался. Он был один: со стыдом и нежностью он думал о своих близких людях, помощниках по работе. Ему давно стало ясно, что транспорт в сущности простое, нетрудное дело; но отчего же он требует иногда не обыкновенного, естественного труда, а страдальческого напряжения?.. Мертвый или враждебный человек — вот трудность! Поэтому нужно постоянно, непрерывно согреть другого человека своим дыханием, держать его близко, чтоб он не мертвел, чтоб он чувствовал свою необходимость и хотя бы от стыда и совести возвращал полученное извне тепло помощи и утешения в виде честной жизни и работы... Но пока далеко не у всех людей душа обращена вперед — в работу и в будущее; у многих она гнездится далеко в тылу, на домашнем дворе, где ходят куры, хозяйствует жена, стареет утварь, изнашивается одежда и ютится ветхая нужда, от которой до костей прозябает всякий человек и тайно плачет слезами себе внутрь, в кровь своего тела.

Пришел конторщик. Он начал говорить что-то начальнику про сведения за истекшие сутки. Левин в истекшие сутки тоже жил и поэтому знал про них все. По своей привычке он больше слушал паузы речи, в которые каждый человек неосознанно, почти бессознательно борется с внезапным наступлением личных, интимных потрясающих сил и сокрушает их, думая, что они не относятся к делу.

— Хорошо, Петр Иванович, — сказал Левин. — Что еще?

— Эммануил Семенович... Разрешите мне дежурить по ночам.

— А что? — спросил Левин.

— Так, — ответил конторщик; его красивое молодое лицо слегка смутилось, но сила скромности и самолюбия возвратила ему спокойствие.

— Напомните мне об этом к концу дня, — сказал Левин. Конторщик ушел. Левин взял трубку и позвонил домой.

— Галя, ты знаешь нашего конторщика?

Она, конечно, знала его. Все, что её прямо не касалось, она знала тем более подробно.

— Сходи к нему сейчас домой, займи что-нибудь для хозяйства, попроси веник, поговори с его женой... Ступай, хохлушка, — после мне позвонишь.

Левин встал. Ему пора быть на путях. В кабинет вошел незнакомый пожилой человек в старой шинели железнодорожного кондуктора, сшитой лет двадцать тому назад.

— Здравия желаю, начальник!

— Здравствуй... Что скажешь?

— Да насчет работы пришел. Тут у вас порядок, вы человек умный, хочу теперь в ногу идти...

— В колхозе был? — спросил Левин.

— Да то где же... О, господи!

— Почему уходишь оттуда?

— Хозяева дюже умные пошли... У нас там самая тьма командует, кто раньше плетни чужие чинил, а теперь кричит — плановость, основа начала, научность, а сами все сено вчистую в палеток в гной пустили — вымокло. Мы косили его, а оно в прах пошло. По нашей местности, выходит, и солнце зря горит: оно траву воспитывает, а мы ее в гной морим!

Левин слушал, потом спросил:

— Значит, у тебя в колхозе сено преет, а ты только вздыхаешь ходишь...

— Зачем нам вздыхать, у нас душа болела...

— Болела! — сказал Левин и стал смотреть на этого человека в упор. — Зря она болела — по-дурацки, по-кулацки она у тебя болела! Ты в стороне стоял, ты ухмылялся, ты думал: а пускай все хряснет в одну ночь к чертовой матери.

— Тьма замучила, — тихо ответил посетитель.

— Но ведь ты-то все понимал! — произнес Левин. — У тебя тоже, значит, тьма в голове...

— Зачем тьма! У меня мысль!

— Мысль! Чего ж она не работала, раз сено пропало... Тьма у нас ошибка, а не закон, а если твоя мысль там ничего не сделала, то и у нас она не нужна... Ступай домой, я затворяю кабинет. Ты работать на станции не будешь...

Левин пошел в обход станции. У перрона находился пассажирский поезд. Люди ехали на север — на Харьков, Москву, Ленинград. В Москве работал нарком, жила жена начальника станции. В сумраке вагонного окна стояла незнакомая женщина. Она скучно глядела на чужой для нее вокзал, на неинтересных людей, — тоже живущих себе здесь в своих надеждах и заботах, — и желала, наверно, чтобы поезд поскорее тронулся отсюда, и она тогда бесследно забудет людей, оставшихся на станции, даже названия этого места потом не вспомнит никогда и не задумается над теми, кто живет в дальних дымящих избушках, которые видны с идущего поезда на степном горизонте.

Начальник станции скромно улыбнулся своей нечаянной мысли. Он подумал, что эта женщина — дура, если так размышляет, но тут же возразил себе: значит, нужно, чтобы она сошла с поезда и осталась работать в Перегоне.

— Да! — резко вслух сказал Левин и засмеялся.

Он вспомнил другую женщину, молодую, одаренную талантом жить чужим чувством, прекрасную, несчастную артистку. Она исчезла где-то без славы, без имени, нищая, гордая и кроткая, никогда не подумав больше о нем, не умея, наверно, чувствовать то, что находится далеко, что давно бесполезно для ее быстро живущего, впечатлительного сердца. Она права, судьба не обратима, и у начальника станции есть уже вторая, любимая жена, есть девочка-дочь, с которой он выйдет под руку в свет, в счастье, в настоящую жизнь, когда дочь вырастет в девушку.

Левин рассеянно остановился; потом он пошел обратно к пассажирскому поезду. Женщина, смотревшая в окно из вагона, теперь вышла наружу. Она стояла около тамбура в синем костюме, покрывши голову кашемировой южной шалью. Глаза ее удивленно, а не равнодушно разглядывали незнакомую станцию, служащих, весь местный странный мир. Ей было лет двадцать; свежее сосредоточенное лицо ее смотрело напряженно, одинаково готовое и к улыбке и к печали. Проходя мимо нее, начальник станции поднес руку к козырьку фуражки, и женщина слегка поклонилась ему в ответ.

Одиноким человеком, Левин редко видел в лицо тех дальних людей, для которых он работал. «Такой скоро будет моя дочь, — решил Левин про себя, — даже лучше, счастливей... А начальники станций будут не такие, как я: они будут спать по ночам, ездить в отпуск в путешествия, жить в семействе с женою среди родных детей».

На путях Левина догнала Галя.

— Эммануил Семенович. У конторщика жена на шпалозаводе работает, а ребенок за дверью кричит, а дверь замком закрыта.. Ведь это что за жизнь: ну прямо — ничто!..

— За какой дверью? — спросил Левин.

— А в комнате ж, в ихней же хатке... Дитя одно целый день живет, отец же с матерью на работе! Как же так можно, Эммануил Семенович! Их пора организовать!..

— Ступай, возьми у конторщика ключ от его хатки, — сказал Левин, — посиди с ребенком, пока отец с работы не придет. Сейчас его некем сменить...

— А обед кто вам стотовит? А кушать чего будете? — воскликнула Галя.

— Не буду кушать, — ответил начальник. — Буду жить натошак...

Галя уперлась руками в бока и подивилась:

— Моя мати!.. Он кушать не будет! На Украине чтоб не ели! А дирекция увидит, а товарищ Левченко опять приедет, а с Москвы кто покажется, да как узнают, да как скажут, — а где твоя кухарка-гадюка, отчего ты постный такой, — а ну пускай кухарка за то дело в лес поедет, десять лет на тыщу человек борщ варить!.. Так добрее же будет взять того мальчика в одеяло с собой на квартиру, обед стотовить и с ним поцацкаться...

Левин ушел в парк формирования поездов, затем на горку и на контрольный пост. Ночью замазали, выбили из графика четыре поезда. На маневрах не сокращаются мелкие аварии и несчастные случаи с людьми. Но Левин понимал, что маленькие происшествия — это большие катастрофы, лишь случайно умершие в младенчестве.

Начальник обосновался в будке стрелочника и вызвал к себе ночного командира по отпращиванию, который еще бродил по путям, не уходя почему-то домой.

— Товарищ Пирогов, — произнес Левин. — Раньше ты говорил — тебе негде жить. Мы тебе дали квартиру. Ты утомился — я тебе наладил путевку на курорт. Тебе не хватало зарплаты — мы тебе добавили, стали выплачивать премии, компенсации... Дома ты скучаешь, пьешь водку, на дежурстве смазываешь поезда, вагоны у тебя режут стрелки... что с тобой, товарищ Пирогов? У тебя горе тайное есть?

— Нет никакого горя, начальник...

— Больше у меня нет добра для тебя, я тоже бедный человек, может — беднее, несчастнее тебя! — воскликнул Левин, упустив на мгновение свою волю. — Я сам буду дежурить за тебя сегодня в ночь: ты не приходи, ты опомнись, отдохни, а завтра сходишь в партком. Я попрошу, чтоб у тебя отобрали партийный билет...

Пирогов стоял молча перед Левиным, опухший от ночного ветра, печальный, смутный человек.

— Ступай домой, — сказал Левин.

Пирогов не уходил.

— Калечьте уж до конца, начальник.

Он отвернулся, слезы нечаянно, сами по себе побежали по его лицу теплыми ручьями. Пирогов их не ожидал, он сразу вышел наружу и пошел против ветра, чтоб воздух высушил ему лицо вместо матери.

В будку пришли составители и сцепщики; Левин сказал им, чтоб они говорили только о мелких подробностях работы, главную беду он знает сам.

Составитель Захарченко стал доказывать, что аварии — ерундовое дело, их быть никогда не может.

— А когда у тебя хоппер сошел на стрелке, отчего это было? — спросил Левин.

— У меня был понос от обиды, товарищ начальник, — сказал Захарченко. — Меня рвать вчерашней едой начало от совести...

Но отчего сошел хоппер, он не знал.

— От жадности у тебя сошел хоппер, — объяснил за него Левин. — Ты дремлешь на работе; опоздал посигналить на пост — и стрелку тебе перевели под самым вагоном...

Ты жаден, Захарченко! Ты живешь за десять километров отсюда, и дома с женой горшки делаешь на продажу. Сменишься, приедешь, сразу садишься за гончарный круг. Поспишь потом немного, опять за горшки садишься и кроешь до самого нового дежурства, потом сюда едешь... Сюда ты приезжаешь уже усталый, почти больной, тебе спать надо, а ты за поезда берешься... Сколько ты с женой выгоняешь рублей из горшков?

— Да рублей шестьсот, более никак не выходит, — кротко ответил Захарченко.

— Врешь, больше зарабатываешь, — сказал Левин. — Но это мало на двоих. Я тебя научу, как можно зарабатывать больше: горшки нам нужны, горшков не хватает на Украине. Ты зайди ко мне после смены, я тебе составлю график: когда тебе спать нужно, когда горшки тачать, когда сюда ехать. Ты будешь приезжать к нам свежим, и происшествий у тебя не станет, а горшков успеешь сделать больше. Понял?

— Да давно бы так пора, Эммануил Семенович, — согласился Захарченко. — Горшок тоже серьезная вещь...

— Как жена твоя, — ты ведь женился недавно, — угождает твоему старику?

— Да она ничего, она умильная... Может, потом застервеет...

— Не застервеет: воспитаем,отрегулируем. Ты ее сам не испортишь...

— Я ничего, я с ней живу осторожно, товарищ начальник...

— Гляди! — сказал Левин. — Живи хоть дома без аварий, раз здесь не можешь работать хорошо.

Захарченко вышел из будки в совести и в расстройстве. Он подошел к стрелочному сигналу, сел на тяговую штангу и увидел в стекле фонаря отражение своего лица. «Эх ты, жлоб московский, жадный черт! — сказал он в стекло. — Блинцы только любишь глотать... Вагон раз повредил, теперь и родной бабы тебе не доверяют. А все горшки, дьяволы глиняные...»

Через час Левин был на горке и принимал участие в расформировании с центрального поста прибывших составов. Он записал себе в книжку, что не ладило в техническом оборудовании. Каждый день проявлялись какие-либо неполадки, — то замедлители пасовали иногда, то башмаки срабатывались, то в централизации что-нибудь болело. Может быть, это глаз заострялся и видел теперь невидимое раньше, а может быть, технику нельзя было ни на минуту отнимать от груди и внимания человека. На всякий случай Левин полностью не верил ни технике, ни людям, инстинктивно любя то и другое.

На обратном пути в контору Левина догнал Полуторный.

— Эммануил Семенович, хочу вам слово сказать.

— Давай, товарищ Полуторный.

— Жена мне давеча ватрушку на пост приносила, хочет французский язык учить, — учитель в Перегоне явился...

— Пускай учится, — сказал Левин.

— Нельзя, Эммануил Семенович, это ведь блажь организуется тогда! Плимутроков уже теперь ей не надо, петуха тоже долой... Хочу, говорит, один французский язык, это культурность! А до плимутроков она наборному делу училась, но бросила, вредно, говорит, и цвет лица портится от свинца. Потом, стало быть, шофером хотела быть, агрономию учила, цветы воспитывала, из ружья в точку стреляла, детей чужих в саду за ручки водила — и все ни к чему. А потом за куроводство взялась, а сейчас на французский перешла...

— Тебя она часто ругает? — спросил Левин.

— Сквозь... Как только заметит, что человек — я, стало быть, — явился, так и пошла: гыр-гыр-гыр-гыр, гыр-гыр-гыр-гыр...

Левин остановился около столба и, прислонив к нему блокнот, написал записку...

— Знаешь, где редакция «Транспортника»? Отдашь эту записку товарищу Левартовскому, редактору. Он позовет твою жену на работу, — я ему позвоню, в чем дело. Пока они так ее потерпят — без французского, а потом заставят учить в обязательном порядке, как журналистку... Она в игрушки у тебя играет, нехай займется настоящей службой, а французский язык сначала на приманку пойдет, а потом уже всерьез. Сперва пусть хоть воду в графины наливает.

Полуторный стоял в счастливом удивлении.

— Ну, Эммануил Семенович, ты целый центнер с меня снял...

— Какой центнер?

— А женщина моя! — жена, которая журналисткой будет! Она ровно центнер до обеда весит — мешанка такая!.. Ну теперь я вдарю по труду, Эммануил Семенович! Теперь вручную вагоны буду катать, раз баба мне сердце не травит!

Время проходит, больше половины жизни прожито... Все лучшие, зрелые годы после окончания института Э. С. Левин прожил одиноким.

Дружил он наиболее прочно и постоянно, в сущности, только с железнодорожным пролетариатом — дружил посредством личного знакомства, взаимной помощи в работе и симпатии. Без личной связи с людьми Левин не понимал отношения к рабочему классу: чувство не может быть теоретическим. Но чувство приобретает силу и смысл лишь в общем действии друзей и товарищей, в бедствии и счастье трудного труда.

Левин вернулся с работы домой. Тьма слабела на небе. Человек, не сняв шинели, стал у окна в своей комнате и прислушался к шуму удаляющихся тяжелых поездов, убегающих в рассвет. Сегодня Левин сам расшил ночной график, выбросил все поезда со станции, принял на сортировку прибытие и приготовил под отправление на утро новые составы.

Последний маршрут утихал вдали; лишь слышно было, как паровоз во весь клапан, на большом форсе, брал подъем. Левин открыл форточку, чтоб дольше, яснее слышать работу поезда. Не в пирушках с друзьями, не в полуночных спорах и даже не в тепле домашнего благоустроенного счастья находил он удовлетворение и наслаждение. Он мог уснуть за беседой об истине жизни и мгновенно проснуться от тревожного гудка паровоза. Он отводил от себя руки жены и друзей, чтобы уйти в полночь на станцию, если чувствовал там горе и беспокойство. В вагонах лежали товары — плоть, душа и труд миллионов людей, живущих за горизонтом. Он чувствовал их больше, чем верность друзей, чем любовь к женщине. Любовь должна быть первой службой и помощью для его заботы о всех незнакомых, но близких людях, живущих за дальними концами рельсовых путей из Перегона. Он любил и воображал всех удаленных, откуда прибывают и куда уходят тяжкие поезда. Наслаждение же одним любимым существом само по себе ничто, если оно не служит делу ощущения и понимания тех многих существ, которые скрыты за этим единственным человеком... Спать уже поздно было... Левин сам погладил и поласкал руками свое тело, зашедшее от усталости. Но в нем еще много томилось цельной, чистой силы, — и странно было желание скорее растратить эту силу, истомить себя в труде и заботе, чтобы уже другое, незнакомое, лучшее, счастливое сердце воспользовалось результатом расточенной, беспощадной к себе жизни, а сам Левин, казалось ему, не смог бы никогда жить полноценно. Он себя считал временным, проходящим существом, которое быстро минует в историческом времени, — и больше не будет таких встревоженных, неинтересных, озадаченных вагонами и паровозами людей, и, может быть, — хорошо, что их не будет.

Левин с тоскою стал гладить дерево на поверхности стола; ему захотелось разбудить Галю и поговорить с ней, как с сестрой, может быть, пожаловаться ей или кому-нибудь еще, любому человеку, если б явился человек.

Но Левин молчал всю жизнь, когда ему было больно, и первая боль до сих пор не прошла. Может быть, именно тогда — в детстве — его душа была потрясена настолько, что начала разрушаться и заранее почувствовала свою далекую смерть. Он всегда мог представить себе с точностью тот детский, все же милый день прекрасной, бедной жизни.

Он сидел в школе рядом с русским мальчиком Володей. Вошел отец Давид, начался урок по закону божьему. Священник спросил Володю; мальчик неловко встал за партой и нечаянно небрежно оперся на нее. Отец Давид посмотрел молча на Володю, потом сказал: «Посидел вот рядом с жидом, а теперь держать себя не умеешь... Надо вас рассадить». Весь класс, все ученики молча посмотрели на маленького Эммануила, и Эммануил заметил улыбку, удовлетворение, удовольствие на лицах своих товарищей. Эммануил робко приоткрыл рот, чтоб свободнее было дышать от муки и сердцебиения, и весь урок глядел в парту, где чей-то ножик вырезал два слова: «хочу домой». Сам отец Давид был крещеный еврей.

Левин ушел обратно на станцию; иногда ему не хотелось быть одному. От вокзала к нему навстречу бежал без шапки сторож и уже издали открывал рот, чтобы кричать что-то начальнику станции. Левин побежал ему навстречу.

— Скорей, Эммануил Семенович, вас там буква Ц из Москвы по телефону спрашивает. Вся контора испугалась... Транзитный на север задержали, — дежурный думает, может, понадобится что везти...

— Скажи, чтоб сейчас же выбросили поезд! — закричал Левин. — Кто задержал отправление?

— Товарищ Едвак, — ответил сторож. — Кто ж, как не он!

В аппаратной комнате присутствовало уже человек двадцать, которым не было терпенья от интереса. Левин велел уйти всем, закрыл дверь и взял трубку.

— Я ДС Красный Перегон. Слушаю.

— Здравствуйте, товарищ Левин. Вы почему так скоро подошли к аппарату? Когда вы успели одеться? Вы что — не спали?

— Нет, товарищ нарком, я только пошел спать.

— Пошли только! Люди ложатся спать вечером, а не утром... Слушайте, Эммануил Семенович, если вы искалечите себя в Перегоне, я взыщу, как за порчу тысячи паровозов. Я проверю, когда вы спите, но не делайте из меня вашу няньку...

Далекий, густой и добрый голос умолк на время. Левин стоял безмолвный; он давно любил своего московского собеседника, но никогда никаким образом не мог высказать ему свое чувство непосредственно: все способы были бестактны и неделикатны.

— В Москве сейчас тоже, наверно, ночь, товарищ нарком, — тихо произнес Левин. — Там тоже не с утра люди спать ложатся.

Нарком понял и засмеялся.

— Выдумали что-нибудь нового, товарищ Левин?

— Здесь людей заново приходится выдумывать, товарищ нарком...

— Самое трудное, самое нужное, — говорил дальний, ясный голос; слышен был тонкий, стонущий гул электрического усиления, напоминая обоим собеседникам о долгом пространстве, о ветре, морозах и метелях, об их общей заботе.

Левин сообщал, как работает станция. Нарком спросил, чем ему надо помочь.

— Вы уже помогли мне, товарищ нарком... Я теперь передумаю сам себя заново.

Пауза. Опять стала слышна работа усиления: печальный скулящий звук электромагнитного возбуждения, преодолевающего огромную шаровую выпуклость земли. Оба человека молча слушали это мучение энергии, дрожащей сквозь расстояние.

— Меня зима тревожит, товарищ Левин, — медленно сказал нарком. — Она еще долго будет идти...

Левин вздрогнул. Интонация раздумья, человечности, тревога истинной героической души была в этих словах, сказанных точно про себя.

Левин выждал время и ответил:

— Ничего, товарищ нарком... Мы будем работать, зима пройдет. Молчание. Левин хотел еще многое сказать, но волнение изменило ему голос, он боролся с тайным стыдом взрослого, счастливого человека.

— Не утешайте, Левин, самого себя, — произнес нарком. — Зиму надо пережить, вырасти за нее, а не привыкать к мысли, что она, мол, пройдет. Человек не должен привыкать даже к самому себе, иначе он помирится со всем миром, а он еще плох. Пишите мне письма или вызывайте по аппарату. Ложитесь спать, будьте здоровы!

Левин отошел от аппарата и попробовал свои ребра под шинелью. Он пожалел, что в его теле не так много добра, чтоб можно было прожить еще новый век без сна.

Один помощник Левина имел лицо заклятого врага турецкого султана. Это был Ефим Едвак, редкий человек на свете. Он сделать мог все, но без крайней нужды не предпринимал ничего. Лишь непосредственная угроза смерти заставляла его совершать жизнь и движение. Главным всеобщим злом Едвак считал простое обстоятельство: люди работают сегодня то, что полагается делать не ранее завтрашнего дня. Отсюда все и пошло крутиться и мучиться. Поэтому сам Едвак начинал творить всякое дело лишь в последнюю минуту, но делал его хорошо и кончал вовремя. Левин давал ему часто тяжелые поручения с кратким сроком. Но Едваку достаточно было только понять, и тогда он сделает любое мероприятие, сам же он не придумывал и не мудрил ничего. В свободное домашнее время Едвак играл на балалайке, пил настойку, звал девиц и плясал с ними, пока не приходил от веселья в отчаяние. Человек большого, но неподвижного ума, он жил, как старинный бурлак, мог работать, как артист, мог до гроба ничего не делать. Женщины, сколько их ни было, долго его не терпели. Наверно, у Едвака душа была такой просторной емкости, что там ни одна женщина не сумела построить семейного гнезда, чувствуя себя как воробей в пустой цистерне.

— Бушуешь? — спросил однажды Левин у Едвака.

— Живу, — ответил Едвак.

Раньше Едвак работал на большом харьковском заводе. Левин хотел с ним посоветоваться: нельзя ли позаимствовать что-либо от заводов для улучшения работы станции. Ведь заводы давно уже пользуются опытом работы железных дорог. Например, конвейер, диспетчерская связь, сигнализация.

— Можно, — сказал Едвак, — только ни к чему. У нас командиры привыкли скопом, народом брать. Где одного нужно, они троих держат. У нас привыкли не думать, а терпеть...

— А разве ты думаешь? Ты тоже на работе молчишь, а дома пляшешь...

— Я думать не берусь, я не тот человек, а пляшу я от горя, от безобразия на этом пункте своей жизни — в Красном, бордовом Перегоне!..

Лицо Едвака покрылось бурым цветом от внезапно возбудившегося сознания: давно он так ничего не сознавал; даже усы его затвердели и приподнялись, будто построенные из рыбьих костей.

— Нарком сказал, что привычка нас губит. Человек должен уметь отвыкать и жить заново...

— Слышал, — сказал Едвак. — Он нарком, а я нет.

— Ты нет, — произнес Левин. — Ты вчера два поезда задержал на десять минут, два вагона перекидывал — пять сцепщиков нагнал. Тебе бы надо моим дедом быть: тот три телеги нанимал, когда нужна была одна. Первая не приедет, у второй шкворень согнется, а уж третья как-нибудь явится...

Едвак осовел от обиды.

— Ты мне, начальник, давай потяжелше дела, по слабым я слаб... Перекидка — пустая вещь, там дежурный был, а я этюд другого порядка.

— Значит, вы двое там командовали — людям работать мешали!..

Левин поручил Едваку обдумать, как перевести некоторые работы станции на заводской способ. Едвак, не собиравшийся думать вовек, задумался тут же. Он привлек все свои воспоминания о заводах, о гаражах, о колхозах, даже о женщинах и целиком озадачился проблемой. Левин остался доволен. Бурлачество, дикость, проживание впустую своего ума и сердца — это лишь общественный форс и искаженная маска талантливой и гордой, когда-то обиженной натуры. Втайне Едвак серьезный человек, и ему достаточно будет дать дело по плечу и по самолюбию, чтобы он выздоровел.

Вечером Левин лежал дома, уткнувшись головой в подушку, но одетый. Иногда у него сильно болела голова, сердце билось больно и близко, словно о кости скелета. Однако это состояние скоро проходило, нужно лишь молча перетерпеть его. Ночью, отдохнув немного, Левин опять ушел на станцию. Ничего опасного там сейчас не было, но Левину дома стало скучно; он верил, что преходящему, временному человеку жить самому с собой нечем. Настоящие, будущие люди, может быть, уже родились, но он к ним себя не относил. Ему нужно было круглые сутки отвлекаться от себя, чтобы понять других; ущемлять и приспособлять свою душу ради приближения к другой, всегда замороженной, закутанной человеческой душе, чтобы изнутри настроить ее на простой труд движения вагонов. Чтобы слышать все голоса, нужно самому почти онеметь.

Левин, согнувшись, шел по путям в дальний парк прибытия. «Нельзя ли системе предварительной информации начинать в месте формирования поездов?» — подумал он и улыбнулся. Как странно, он привык страстно размышлять лишь о своей работе. Какой он скучный человек! Разве может с ним интересно жить какой-нибудь другой человек? Едва ли!.. Сколько еще осталось жизни? Ну, лет двадцать, нет — меньше, надо прожить скорее; ведь неудобно будет в светлом мире, в блестящем обществе существовать такой архаической фигуре: оборот вагона, снижение нормы простоя, коммерческая скорость, график...

— Нет! — вслух засмеялся одинокий начальник станции. — Таких чертей там не будет: вымрут! Или останутся где-нибудь на пенсии сидеть на завалинке и будут рассказывать, как слепые деды...

Левин вспомнил детей, когда они слушают слепого старика. Они не понимают его слов и не придают им значения. Они смотрят на его глаза, на ветхое лицо, их интересуется лишь, что он старый, слепой, а не умирает: они бы на его месте умерли.

В полночь начальник вернулся домой. Галя уже спала. «Надо ее подучить и отправить работать на горку, — решил Левин. — Что ее держать, зачем тратить ее жизнь на услуги для одного человека? Безобразная вещь!»

Он лег в постель, стараясь скорее крепко уснуть, — не для наслаждения покоем, а для завтрашнего дня. Он долго еще слышал работу парков прибытия и отправления, нулевой парк, транзит, горку, маневры... Сигналы паровозов были нормальны, на выхода выбрасывались поезда, поездные вагоны пели на удаление. Левин забывался, свет его покрасневших от бессонницы глаз угасал во внутренней тьме беспомыслия.

Через час зазвонил телефон.

— Собаки! — проснувшись в своей комнате, сказала Галя.

Левин открыл налившиеся кровью глаза. Шинель и вся одежда висела у него на спинке кровати. На всякий случай он сразу взялся рукой за шинель, чтобы надеть ее прямо на белье, если понадобится, и проверил взглядом, где стоят сапоги.

— Я! — сказал он в трубку.

— Ничего, начальник, это я — Едвак. Из Москвы спрашивали по селектору: как ваше здоровье, спите вы или нет. Как будто вы великий, бессмертный человек!.. Я сказал, — Левин спит спозаранку: чтоб они больше не шумели из Москвы.

— Ты же меня разбудил теперь!

— Неважно: крепче заснешь, — сказал Едвак.

Левин посидел немного на кровати, потом оделся и ушел на станцию. Ему пришло соображение относительно увеличения нормы нагрузки вагона, и он хотел сейчас поговорить с вагонниками. Запас прочности в осевой шейке достаточно велик, можно добавить нагрузку.

1936

СТАРЫЙ НИКОДИМ

В северном хвойном лесу на большой пустоши издавна живет одна деревня по имени Тихие Березы. В этой деревне всего восемнадцать дворов, а девятнадцатая изба стоит вовсе без двора. В той последней, девятнадцатой избе жил одинокий старый человек Никодим Васильев Рыбушкин; хозяйства у него в деревне не было, потому что Никодим Васильев жил на пенсии, которую он получал за свою беспорочную службу на железной дороге. На железной дороге Никодим Васильев прослужил путевым обходчиком сорок семь лет, а года четыре тому назад вышел на покой, в отставку по старости лет.

Из хозяйства кроме избы у Никодима была только одна корова. Он завел ее не столько ради пользы, сколько ради того, чтоб не скучно было вековать одному и чтоб в его жизни тоже была забота о ком-нибудь, как будто он живет в семействе. Корову старика прозвали на деревне Боевой Подругой, и хозяин тоже признал за ней это имя и привык к нему.

Избушка Никодима имела внутри одну горницу — по четыре шага каждая сторона — и печку-печурку посреди, а дверь из горницы отворялась прямо наружу, во весь свет, без сеней; на земле избушка стояла на четырех колодах, а для тепла в подполье была насыпана сухая листва.

С вечера старик обыкновенно запирает свою корову на ночь в сарай к соседу, сам же садился на пенек возле жилища, курил трубку и наблюдал, как проходит жизнь на Деревенской улице и утихает постепенно во сне.

Во время войны с врагами немцами Никодим Васильев засиживался у избы до самой полуночи; он слушал, как во тьме летали аэропланы над лесами и бросали туда бомбы, так что и земля и вековые деревья с мучением вырывались прочь и рушились обратно мертвыми.

Четыре ночи старый Никодим глядел на это убийство, а потом ему жалко стало земли и деревьев, и он пошел на рассвете дознаться, в кого там мечут бомбы злодеи. Старик знал окрестный лес, но уж стал забывать его знакомые места. Он редко теперь отходил от своей избы, только за грибами по лесу бродил, и то поблизости от деревни. Его дело было уже старое: летом возле избы сидеть, а по зимам спать в тепле.

Однако тут старый Никодим отправился. Долго он шел, обходя ямы, вырытые бомбами, и порушенные деревья, пока не увидел пустошь, которой прежде не было. Лес, должно быть, свели тут недавно. А теперь на пустоши стояли наружи два наших новых аэроплана, другие же аэропланы были незаметно схоронены по лесной опушке и укрыты ветвями.

В сумраке меж деревьями стояли еще строения, и в них гудели машины на работе. Старик постоял на месте, но не пошел туда близко... «Я человек тут посторонний, — подумал Никодим Васильев, — скажут еще, что я шпион, а я — наоборот».

Но он сообразил теперь, в кого хотели немцы попасть бомбами; только они не попадали.

— И сроду не попадете! — сказал вслух Никодим Васильев. Я вас отважу. Вы нас бомбами, а я вас разуменьем.

Старик пошел назад дальним путем, через старые, давно раскорчеванные пустоши, и вернулся к своей избе. В избе он взял топор и начал обтесывать концы венцов, выходящие из-под четырех углов избы наружу.

Затем он попросил у соседа четыре старых тележных колеса и надел их на обтесанные концы венцов, как на осевые шейки, и вддел в расщепы чеки, закрепив их лыковыми петлями. К вечеру он сладил деревянное ярмо и приготовил веревочную упряжь.

Обождая, когда его Боевая Подруга возвратилась из стада, Никодим обласкал ее возле избы и подоил, а в сарай к соседу не повел. Как только смерклось и потемнело, старый Никодим запряг корову в ярмо и велел ей трогаться вперед, а сам уперся в избу сзади — на помощь Боевой Подруге. Изба трудно сволоклась с сухой листвы и дальше поехала много легче.

Старик вышел к Боевой Подруге и повел ее вместе с избой на колесах старой просекой по мякоти земли в темную глубь леса.

Отъехав подальше от деревни, Никодим остановил корову на просторной ягодной поляне.

— Тут буду! — сказал старик; он выпряг Боевую Подругу из ярма и отвел ее в лес на ночное пастбище.

Возле избы Никодим развел небольшой костер и стал ожидать врага. Когда враг загудел в небе, старик ушел в лес и услышал оттуда, как сверху с воем понеслась вниз бомба и метнула землю с черным огнем обратно в небо.

Удар был не очень могучий, из чего Никодим решил, что враги скупы на большие бомбы, и осерчал на них. Он воротился к избе; из нее только выбросило вон две оконные рамы и дверь, а сама она осталась целой как есть. Старик сызнова развел костер, потушенный ветром от бомбы, и стал слушать небо. Он хотел, чтобы все свои бомбы злодеи потратили впустую на его избушку, как на приманку, а на наши самолеты и постройки в лесу, чтобы ничего не упало. Но враги гудели где-то вдалеке, а сюда поближе более не прилетали.

— Ну ладно, — сказал старый Никодим. — Я еще подумаю. Так вы от меня не отдаетесь.

Наутро Никодим Васильев пошел в деревню Заборье, где находилась база райпотребсоюза. В том райпотребсоюзе он сказал, что в Тихих Березах вылетели ночью все стекла в избах: нужна, стало быть, хоть фанера. Старика знали в райпотребсоюзе, и ему отпустили двадцать листов фанеры, но велели потом принести требование от уполномоченного сельсовета.

Никодим Васильев обвязал фанеру лыком и поволок ее к своей избе.

Весь остаточный день и всю ночь при луне старый человек пилил лучковой пилой и вырубил топором из фанеры большие фигуры. Иногда он останавливался работать, соображал, измерял фанеру бечевою, а потом снова пилил и подрубал. На рассвете старик поспал, потом проснулся, обрядил корову, которая беспокоилась и мычала в одиночестве, и снова начал работать.

Под вечер Никодим прикрепил в тесовой крыше своей избы добавочные фанерные крылья и хвост. Он поделал сам деревянные гвозди и их употреблял в дело, потому что железных у него не было. Рядом с избой, но все же подальше от нее, старый

Никодим постелил на траву две фанерные фигуры аэропланов. Сверху должно было казаться, что на земле находится большое военное воздушное хозяйство.

— Ну что ж, теперь хорошо! — решил Никодим. — Теперь обождем ночного времени.

Ночью старый Никодим сидел в ожидании возле своего хозяйства и курил трубку. Фанера его ясным серебром блестела на лунном свете.

— Теперь ты попадешься: все бомбы будут тут! — радовался старик.

Чтобы фанера не очень блестела и враги не разгадали обмана, Никодим посыпал ее немного травой.

Услышав далекий гул самолетов, старик ушел в лес к Боевой Подруге. Корова стонала от тоски, но хозяин поговорил с ней, приласкал ее, и она умолкла. Успокоившись, корова легла на землю, и Никодим Васильев заметил, что она вся дрожит.

— Не бойся, мы с тобой уцелеем! — говорил ей старик. — Что ты? Это они дураки, а мы с тобой нет?

Вдруг тугой воздух ударил в них, и в старого Никодима и в его Боевую Подругу. Они задохнулись в нем, старик свалился на корову, и оба они обмерли.

Очнулся Никодим уже в тишине. Ночь все еще продолжалась, и луна светила. Старик пошел к избе, на поляну. Изба теперь лежала на боку, но сруб ее был старинной прочной вязки и не развалился. Фанерные фигуры самолетов были отброшены вдаль, однако остались в целости. Вокруг же своего хозяйства Никодим сосчитал на поляне пять больших воронок, двенадцать малых и тридцать четыре дерева, вырванных с корнем, не считая тех, которые устояли, а были только ободраны взрывным воздухом.

— Вот теперь хорошо! — обрадовался старый человек. — Теперь ты, злодей, в убытке...

Приладив вагу, Никодим поставил избу, как она должна стоять, и починил у нее оси и колеса, чтоб она могла ехать далее.

Вскоре, собрав все свое фанерное имущество, старик снова запряг Боевую Подругу в ярмо и поволок свое жилище в лесную сторону.

Никодим сообразил, что тут ему дольше оставаться не дело: немцы могут угадать его хитрость.

На полдень он прибыл с избой и коровой в глухую пустошь, где редко кто бывал из деревенских, и там расположился по-прежнему, разложив, однако, фанерные фигуры далеко порознь одну от другой. Устроив все, как следует по хитрости, Никодим ушел со своей коровой-подругой в гущу леса, чтобы схорониться там на ночь от смерти.

Ночью старик и корова слышали лишь два удара бомб, но весь лес зашелестел от ветра и долго еще шевелился, хотя погода была тихая, как во сне.

Утром старик пришел с коровой на место, где была травяная пустошь. Там теперь ничего не было — ни избы, ни фанерных фигур, — была только одна вырытая порожня пропасть, а вокруг нее поваленный и обглоданный взрывом лес и прах, развеванный из пропасти. Среди того праха покоились, должно быть, и остатки избушки Никодима.

Старик поглядел на эту разоренную землю и произнес:

— Это ничто: порушенную землю водой и ветром затянет, а избу я новую сложу!

Он погладил корову и повел ее за собою на деревню в Тихие Березы.

На выходе из леса старик и корова встретили русского летчика.

— Здравствуй, дедушка! — сказал летчик.

— Здравствуй, сынок! — ответил Никодим Васильев.

Летчик улыбнулся.

— Это ты там один воевал с немцами... Мы наблюдали за тобой. А я в деревню приходил — спросить про тебя, кто ты есть такой, меня командир послал.

— Да я житель — старик, — сказал Никодим Васильев. — а чего ж вы-то не летали им навстречу из леса?

— Мы-то? — подумал летчик. — А мы не летчики, мы воздушные инженеры, мы машины чиним, у нас мастерские...

— Вон оно как! — произнес старый Никодим. — То-то я гляжу... Ну ладно — чините спокойно, я опять избу сложу и сызнова поеду немцев на пустое место манить.

— А не боишься, что бомба тебе по голове попадет?

— Едва ли... А попадет — так я же человек ветхий, мне уж пора ко двору — в землю.

Летчик протянул руку старику.

— Тебе медаль, дедушка, полагается. Как тебя полностью зовут?

— Медаль? — спросил старик. — Раз полагается — давайте. Надо только рубаху новую сшить, а то медаль носить не на чем. Война ведь — обновку сшить некогда.

Никодим Васильев тронул корову и пошел вместе с ней и с летчиком-инженером в Тихие Березы. Старик забыл, что в деревне у него уже нет своей избы.

1942

БОЙ В ГРОЗУ

С утра с нашей стороны начался артиллерийский огонь, который должен подготовить удар танков и пехоты на прорыв, на сокрушение неприятельской обороны. Били пушки всех калибров, били гвардейские минометы, но в чередовании их огня был свой план и смысл — простой, однако, план битвы: прицельное, полное, поголовное уничтожение живой силы противника, его противодействующего оружия всех видов, его укреплений. Этот план боя не был неприкосновенным начертанием на бумаге: полководцы были здесь же, в сфере боя, и они, в зависимости от противодействия и маневров противника, корректировали битву, варьировали всю музыку сражения.

Мы находимся на опушке леса. Далее простирается обнаженное степное пространство, сложенное, как почти вся средняя Россия, из увалов, похожих на замедленные, остановившиеся волны земли. На военном языке вершины этих увалов называются высотками. От века безыменные, они получили теперь номера, а иногда и образное имя. Например одна высота имела таинственное название: «Расторопные капли». Оказывается, ее защищали пьяные немцы, напившись «расторопных капель», но окрестил высоту, конечно, трезвый русский солдат.

Отсюда, с опушки леса, хорошо обозревается все поле боя. Позади нас в ожидании сигнала расположилась танковая бригада, изготовленная к атаке. Но сейчас пока что разыгрывается лишь артиллерийская увертюра к сражению. Здесь, в этом направлении, должен быть нанесен главный удар по дрогнувшему противнику.

Тысячи наших пушек ведут огневую работу. За чертою противоположащих высоток, где проходят немецкие рубежи, ясное утро превращается в черную удушливую ночь, и тьма застилает горизонт и подымается к зениту, просвечиваемая лишь мгновениями разрывов. Со скоростью молний ведется титанический обвальный пушечный труд, обдирающий землю до глубокой белизны ее каменистых, материковых пород, до самых твердых костей ее тела.

Сначала можно было различить отдельные выбросы земли, похожие на вскрики, обращенные к небу, — и нам даже казалось, что можно, помимо пушек, слышать

этот наивный и непосредственный голос гибнущей земли, но теперь тишь все белее ступающаяся и подымающаяся к небу тьма на стороне противника обозначала нарастающую энергию нашей артиллерии.

Майор-танкист, наблюдающий возле нас работу артиллерии, говорит, что такого огня он ни разу не видел, хотя и воюет уже третий год.

Действительно, временами казалось, что больше уже нельзя увеличить мощность огня: сами люди, ведущие этот огонь, не выдержат его напряжения и сердце их не сможет долго превозмогать страшное впечатление от их же работы или сдадут, откажут от перегрузки пушечные механизмы. И все же огонь возрастал; земной прах, дерево, металл и живые существа на стороне врага молотились в куски, потом повторно перемалывались на мелочь и еще раз накрывались огнем — для обеспечения полного сокрушения. И поверх всех голосов пушек вдруг раздался нежный и протяжный голос гвардейских минометов, минут за десять до того они прошли мимо нас на позицию.

— «Катюша» юбочку немного подняла! — сказал капитан-танкист. — Работай, дочка, немцы тебя любят слабо.

С этого рода минометов перед их зарядкой снимается чехол — «юбка».

Молча и тяжело стояли танки позади нас, еще холодные и безмолвные, но полные снарядами, залитые горючим, с экипажами, неотлучно дежурящими подле машин. Вершины деревьев над ними изредка поводились жарким ветром, и душно и тягостно было человеческим сердцам, и, казалось, даже машинам тягостно это терпение перед боем и скапливающейся в небе грозой.

Враги изредка пускали из своего мрака блестящие ракеты, ведя разговор со своим тылом. Они еще хотели устоять и выжить.

Из кустарника поодаль от нас вышла группа танков и устремилась вперед под обгоняющими их снарядами нашей артиллерии. По сторонам, с полей, поднялась пехота, она прижалась к танкам, как к материнским защитным телам, и скрылась из виду вослед им.

В точно положенное время пушки стали безмолвными, и лишь дальнобойные калибры издавали редкое, упреждающее врага бормотание. Но небо уже населили тяжело нагруженные бомбами эскадрильи наших самолетов, окруженные легкокрылыми, резвящимися истребителями.

Наши самолеты шли в дымном тумане неба, словно периной все более тесно и туго укрывающем душную томящуюся землю, и люди внизу, готовые к бою и движению, привыкшие к жаре и морозу, мучились сейчас от пота и того пустого времени, которое перед боем бывает нечем заполнить. Однако танкисты, ожидающие сигнала к выходу, нашли себе занятие. Экипажи, не отдаляясь от своих машин ходили в гости в соседние экипажи, и люди тихо беседовали друг с другом, внимательно, словно на долгую память, рассматривая один другого глазами, полными дружелюбия. Вот пришел большого роста человек в синем комбинезоне, с умным рабочим спокойным лицом; приветливо и серьезно он наблюдает своих друзей и больше слушает их, чем говорит сам, зная, видимо, что человеку иногда бывает легче от слов, чем от молчания. Это знаменитый мастер войны гвардии майор Герой Советского Союза Корольков. Грохотание боя не отвлекает их друг от друга.

На скате высоты, обращенном в нашу сторону, появились черные взрывы земли. Немцы били на скат без повреждения: немецкий огонь был слишком редок, его самого уже пожгла в зачатке, изуродовав батареи, наша артиллерия.

Навстречу нашей авиации вышли только несколько истребителей противника, что было явно слабо и беспомощно. К вечеру этого дня мы подсчитали, что наша авиация на том направлении, которое мы наблюдали, имела многократный перевес.

Наша артиллерия снова усилила свой огонь, работая на дальнейшее опережение наших действующих атакующих сил. Наш «бог войны» неустанно стерег поле битвы и

обеспечивал в нем свой порядок против беспорядка, вносимого врагом, — беспорядка, заключающегося в самом наличии неприятеля на здешней земле.

Большие силы танков все еще не были введены в бой. Мы пошли к их людям, и нам удалось встретиться с гвардии старшиной Иваном Семеновичем Трофимовым, командиром танка, человеком, которому прочат великое будущее как сокрушителя немецких бронированных машин.

Ивану Семеновичу Трофимову двадцать пять лет от роду, до войны он жил и работал в Москве электриком, он человек русского рабочего класса. На войне он участвует с начала ее, теперь он гвардеец, участник обороны Сталинграда и кавалер трех боевых орденов.

Чего же сейчас хотелось товарищу Трофимову? Не знаем. Может быть, ему, этому юноше, хотелось увидеть освещенную, ликующую, мирную Москву и пройти со всеми орденами и медалями на груди по ее главной светлой улице. Это естественное и счастливое желание молодого и героического человека. Не прочтешь в ясном скромном взоре этого человека интересующую нас тайну его боевого искусства. Но из его же скупых прозаических слов, из внимания к деталям его боевой работы нам делается более ясным его мастерство. Оно, столь простое для понимания и столь трудное для практического осуществления, заключается в сохранении расчетливого, спокойно действующего здравого смысла в то время, когда ты сидишь в горячей стальной коробке, где ты можешь сгореть как в аду, в то время, когда в твоём теле непроизвольно зарождаются и начинают действовать инстинкты, стремящиеся лишь защитить тебя от возможной гибели и заглушающие рассудок солдата, у которого первая цель — сокрушение врага, а не спасение самого себя. Боевое мастерство Трофимова, как мы поняли, и состоит в сохранении главенства своего здравого смысла над всеми прочими чувствами и инстинктами человека среди угрозы гибели, в оценке, что исполнение боевого задания тем проще и опасность тем менее, чем больше действуют умелые руки и расчетливый разум солдата.

Есть, вероятно, и другие способы или «тайны» боевого искусства: дело зависит от индивидуальности, от опыта, от рода оружия и от многих других причин и обстоятельств.

Во второй половине дня поднялась внезапная буря, подувшая нашим войскам в лоб. Со степи летели сорванные травы, прах почвы и гарь залпов и взрывов, но и сквозь сумрак бури и навстречу ей шли танки и били пушки: буря не должна задерживать наступления.

Буря обратилась в грозу. Вертикальные молнии ужалили землю вблизи передовой и ослепили на мгновение артиллеристов, но они, поглощенные своим делом, лишь внесли поправки в стрельбе на бурю и грозу. Начавшийся дождь, сразу перешедший в ливень, не укротил, однако, грозы. Природа встревожилась до ярости, и теперь она метала молнии сверху вниз и параллельно земле, словно ища себе исхода и не находя его. Канонаду нашей артиллерии умножало небо громом грозы, и общее их грохотанье повторялось откликами волнообразной равнины и уходило дальними, смягченными голосами в глубь нашей родины. Свет молний и пушечного огня, скрежещущий и раскатывающийся рев канонады и грома и мрак ливня, озаряемый лишь магическими вспышками человеческой и небесной ярости, создавали впечатление, что за гранью нашей победы нас ожидает волшебная судьба, возвышенная и мощная в материальной силе.

Поток артиллерийского огня рассекал кипящий ливень и стремился вперед, на все более дальнее опережение мчащихся танков, за которыми увлекалась наша пехота, тонущая в размытой земле. Наши солдаты двигались в ливне, но тело их было в поту от тяжкого труда.

Очередная молния ударила с неба, но она не сразу вошла в землю, а прошла несколько вперед, замедлившись в пространстве, точно не находя себе нужного краткого пути, и затем, разделившись на четыре ветви, впиалась ими в скат высоты, издав гром, похожий на долгий вопль. Эта молния своим задержанным светом озарила все поле сражения и наши действующие на нем стремительные войска. Сам наступательный бой — мчащийся вперед поток огня, машин и людей — походил на замедленную, и потому долго видимую молнию, еще более яростную и мощную от своего замедления, умерщвляющую врага своим пламенем.

И на этой неторопливой последней молнии гроза умолкла.

Наступил вечер; бой, начавшийся здесь, у опушки леса, уже отдалился от нас. Стало известно, насколько сегодня мы продавили врага назад. Вышло, что немало, — стало быть, нынешний день прожит нашим солдатом не зря.

1943

НА ДОБРОЙ ЗЕМЛЕ

(Рассказ бойца)

Мы шли из резерва маршем к верхнему Днепру. Шли мы напрямую по нечистым полям, где немцы посадили мины, но обходить те поля далеко было, потеря же времени нам не разрешалась; впереди нас разведкой шли минеры и давали нам направление, а все-таки идти так было мало удобно, и к вечеру мы утомились. На ночь мы стали на постой в деревне Замошье. Там осталось целых всего четыре двора, а прочие хаты все сторели дотла.

Замошье, помню, расположено было на доброй земле; хаты стояли на возвышенности, но не крутой, а на отлогой, и оттуда был виден людям весь мир, где они жили. Суходольные луга начинались внизу у той возвышенности, потом обращались в поемные и уходили до самого Днепра-реки, верст на десять или более, и от ровности той земли на взгляд казалось, что пойма восходит вдалеке к небу и Днепр светит выше земли. Сладких кормовых трав там рождается столько, что к зиме можно готовить кормов на любое поголовье, сколько хватит крестьянского усердия. И самая поздняя отава, я слышал, там тоже не кислой бывает, — значит, там почва хорошо умеет солнцем беречь. Но тогда, хоть уж октябрь месяц был, весь травостой на лугах цельным стоял: народ был на войне и мины в траве смерть хранили.

Я с прочими бойцами стал на ночлег в крайней хате, что целая была, а еще три целые хаты были подалее. Мы поместились в сенях на помостях. И тут же в сенях за дощатой обмазанной стеною была закутка для коровы. В хате помещалось семейство — женщина-крестьянка, красноармейская вдовица, с четырьмя малыми детьми. Муж ее скончался от ранения еще поначалу войны: после ранения он пошел обратно до своего семейства, пожил дома немного, умер, и жена его похоронила. Она долго старалась, чтобы муж оправился и жил снова как следует, она лечила его травами и легкой пищей, но рана была тяжелая, в живот, — и умер солдат.

Женщине что же дальше делать, раз четверо детей при ней? Все дыхание у нее было при корове — без коровы ей с детьми погибель. Женщина была способная, не старая еще, и стала она жить да детей растить.

А тут явились немцы. Что делать хозяйке — живет она и при немцах, живет неудобно, как будто постоянно находится при смерти. Время идет, скорбь не проходит, но Красная Армия воюет скоро. Собрались немцы в отход, и собрались в минуту вре-

мени: наша часть их в свой маневр взяла и не дает сроку. Немцы к хозяйке моей хотели зайти: может думали, корову угнать управимся, а хату, дескать, в момент спалим. А хозяйка тоже не без рассудка жила. Она еще загодя, впрок, заготовила себе три легкие пехотные мины. Одну мину возле хаты положила, а две — у коровьей закутки. Немцы, по своей норме, сразу в гости к корове пошли. Ту мину, что возле хаты была закопана, они миновали, а что возле закутки были захоронены — те мины брызнули по немцам, позже потом все сени в дырках были, и корову в закутке поранило, но на ней зажило.

Теперь мы в Замощье появились из резерва. Лежу я ночью в тех сенях. Бойцы со мной тоже лежат в ряд, иные спят, иные думают. За стеною в закутке сопит корова. Иногда она тяжело вздыхает, кашляет и чешется боком о сучок в стене, потом помолчит, успокоится и опять тягостно вздохнет. Всю ночь я не спал или так — дремал помаленьку и все слушал корову, как она грустно дышит, сдувая сор с земляного пола, и кашляет.

Посреди ночи вышла из хаты хозяйка с ночником, чтобы проведать корову. Я тоже встал, чтобы поглядеть, что с коровой. Корова была большая, добрая; она не спала, она лежала на полу и глядела на нас с хозяйкой. Хозяйка поласкала корову, огладила ей весь живот, а живот у нее большой, натужился — стельная была матка, еще месяц — полтора, и ей, вижу, пора телиться.

— Ну, лежи, отдыхай, кормилица! — сказала хозяйка.

Я осмотрел хозяйку. Женщина она еще была нестарая, темноглазая, задумчивая такая...

Лежу я опять на своем месте, скоро подъем будет и — в бой пора на переправу. Не спится мне, не отдыхаю, а идет во мне размышление. Я сам орловский. Был у меня сын, малый пятнадцати лет, угнали его немцы — не от пули, так от истомы помрет у них, более я его не увижу, надежды мне нету. Хозяйка моя одна жить не стала — хозяйина дома нету, не то я вернусь, не то нет, сына увели на погибель, — взялась в ней с тоски чахотка, потомилась она и более не встала. Я тут же вскоре на два дня в отпуск приехал. Пошел я к жене на могилу, вижу — вся моя прошлая жизнь окончилась, ничего более нету. А сам я, однако, целым живу, сам я свежий еще солдат и народу еще нужен.

Думаю я это все правильно и опять слушаю, как вздыхает корова; но так уж, видно, положено ей терпеть, потому что в чреве у нее готовится другая жизнь, и чувствую я, что уйду отсюда и скучать буду по этой корове.

Из Замощья мы вышли еще затемно. Жалко мне было оставлять опять на сиротство без хозяина двор вдовицы, да с неприятелем надо было управляться.

Чуть только светать начало, подошли мы к Днепру и притаились в травостое, невдалеке от самого уреза воды. Время уже осеннее, вода в реке серая, неживая, глядим на нее — и у нас загодя сердце зябнет. Поперек Днепра тут метров до семидесяти будет, и место глубокое, а на правом берегу круча отвесом стоит, туда нам и надо выходить было. Я думаю-соображаю и вижу — правильно, что нам как раз здесь переправу нужно делать. Выше и ниже по течению места для переправы удобнее и спокойнее будут: там река шире, — значит, не так глубоко, и правый берег отложе, но там и немцы нас ждут, они все время стреляют контрольным огнем по тем речным местам, а покажись мы там — накроют пламенем, дыши тогда в промежутки.

Командиром роты у нас был старший лейтенант Клевцов, хороший человек и настоящий офицер, а сам тоже вышел из рядовых бойцов. Когда у бойца есть офицер, солдат при нем как в семействе живет, он воюет себе и чувствует, что в деле рассудок есть, а в роте старший человек с общей заботой живет — офицер, он и тужит обо всех.

Травостой был хорош, но не век нам было в нем сидеть. Командир роты обошел наше расположение, проверил знание задачи отделениями и поговорил с нами понемногу.

— Переплывешь речку, Кузьма? — спросил он у меня. — Ты как плаваешь-то?

— Переплыву, товарищ старший лейтенант, — отвечаю. — Плаваю я плохо, а плыть надо — надобность большая.

Не знаю, вышло ли так по плану и расчету наших командиров или по случаю погоды получилось, однако заволокло реку, землю и небо туманом — как раз то нам и требовалось. Настала ни тьма, ни свет, и видно, и неприглядно; такой туман ни прожектор, ни ракета — ничто насквозь не возьмет.

Выждали мы приказа. Командир роты вблизи появился; он улыбается и говорит:

— Пора, товарищи бойцы, и на ту сторону Днепра! Впереди у нас саперное подразделение — саперы врубят лаз на Фучу. Не бойтесь воды, кому холодно будет, пусть помнит: зато позади него всей нашей России тепло!..

И верно так! Вошли мы в воду и поплыли по силе-умению и ничего с нами особого не стало, сначала только охолодали, нагревшись до того на воздухе. А потом мы притерпелись к прохладе и от тяжести одежды согреваться в работе начали. Но туман кругом садился на нас серой гущей, ничего не видать, бело и глухо стало окрест, будто спокон веку и свет не светил. Плыдем мы, автоматы не мочим: я его сберегу, он меня спасет.

Плыдем мы далее вперед, силы наши в расход идут, сердце спешит биться, но долг свой исполняет исправно, а того берега все нету. А уж по времени, по нашему терпению пора бы тому берегу Днепра быть. Чувствуем, что течение вниз нас сносит, но мы стараемся упредить его, на что тоже во времени и силе потеря идет, но мы терпим. Возле меня Самушкин и Селифанов плывут, тоже люди из нашего отделения. Самушкин так чуть спереди меня держится, и я по нему лавирую, а Селифанов маленько отстает, он мне не примет.

Вскоре вижу, их нету никого: туман нас всех разделил, живи один в сумраке. Я робеть стал — блуждаем, думаю, и к сроку на тот берег не успеем, обидим тогда командира. Гляжу в мутный свет, вижу — Самушкин у меня теперь сбоку на правом фланге находится, а Селифанов даже впереди. Я, как старослужащий, даю им указание: держи, дескать, струю реки в упор на правое плечо, нам блуждать не дело. Но шуметь-то особо нельзя, и я им это тихо сказал, они, может, ничего и не слышали, и опять мы тут же потеряли друг друга. А тело уж стыть до костей начинает, давно мы в воде, шинель на железную стала похожа и вяжет туловище саваном, и глазам дремлет. Ну, хорошо, стало нам плохо. Я спешу плыть, а сам озираюсь — людей своих гляжу. Плывают где-то наши солдаты, — может, и близко от меня.

Потом я плыл как в дремоте, а очнувшись, подумал, что уснул и вижу сон. Влево от меня плыли тени в тумане; они плыли на левый берег, который мы оставили за собой. Я стал думать. Как старослужащий, я сообразил, что мне надо, и повернул за тенью людей.

Три неприятеля гнали перед собой бревно. Они опирались на него руками, положили на него автоматы и ворочали в воде ногами, чтобы плыть на нашу сторону. А я был сзади у них. Стрелять с воды трудно, автомат замочишь, шум подынешь и промахнешься. Оно бы можно дать огня, но крайности пока нету.

«Значит, — думаю, — немцы в контратаку наладились. Мы к ним, а они к нам. Опять же, — думаю, — в Замощье направляются». Стал я сердчать.

Немцы оставили свое бревно, толкнули его по течению и встали в воде по грудь, далее уже был берег. Я тихо заплыл им вниз на фланг и тоже ступил ногами на дно, а затем сразу порешил их очередью. Чтоб не отвыкать от холода, я сразу поплыл об-

ратно; плыву опять в тумане за своими, вынул на случай клинок и всадил его себе в шинель на груди, чтобы сподручнее было его взять. Слышу, в тумане выстрел раздался, а затем очередями начали палить: наши немцев губят на воде. Я по воде на огонь поспешно пошел. Плыву, наблюдаю, гляжу — из туманного сумрака, как из глубины колодца, идет на меня тихая тень, и, чем ближе, тем она больше. Я к ней плыву со своими мыслями, но не понимаю. Потом увидел ближе и понял: это крупный немец на спине плывет, на животе он, стало быть, плыть утомился. Я обождал его, он наплыл на меня, и я его ударил клинком в горло сбоку. Неприятель взмахнул руками, повернулся было ко мне и сразу пошел под воду, а оттуда забулькал воздух: видно, он там закричал, что помирает. Кто ж его услышит? А мне его слушать некогда.

Я плыву далее по своему делу. Смотрю — опять Самушкин на виду показался и автомат наружу держит. Он мне сказал, что сейчас плот с немцами плыл по воде, семеро солдат было на нем, шестерых побили, а один вроде целый остался и уплыл по реке.

— Едва ли он цел! — сказал я Самушкину.

— Пльвем на крутой берег, — сказал мне Самушкин. — Я теперь к туману привык и направление знаю!

Мы выплыли с ним к отвесному правому берегу, но не враз нашли место, где можно было выходить, а еще долго плыли навстречу течению у мокрой глиняной стены того берега.

Подъем на кручу нам устроили немцы. Они догадливые, подволокли туда на отвес два деревянных блока с веревками, чтобы спускать сверху загодя сшитые плоты. Два плота они спустили и войско свое на них посадили, всего, должно быть, до взвода, вроде боевой разведки или штурмового десанта, а там кто их знает, что они далее делать полагали, но мы их в тумане на воде встретили и отрешили от жизни, а саперы наши не дали управиться ихним саперам, чтобы те блоки отстранили или покалечили, — наши саперы сбили пятерых береговых немцев огнем.

Нас подняли саперы по веревкам на сушу, и мы опять собрались все вместе в целости и друг другу милее показались, чем на самом деле.

Наш командир, старший лейтенант товарищ Клевцов, осмотрел каждого из нас.

— Ничего, — говорит, — мы на ветру обсохнем. Вперед!

И мы побежали к сухоходльному дугу в неприятельскую сторону. А видно было спереди шага на четыре, не более, и командир наш знает, что у нас будет впереди, и боец с ним спокоен.

Глядим, туман вокруг нас клочьями пошел, и видно стало вперед, гораздо далее. Солнце, стало быть, на небе в силу вошло и поедает туман, скоро вовсе станет свет и будет хорошая погода.

Командир остановил нас, разведка местность, поговорил, что нужно, по радио и велел нам вкопаться в грунт.

Мы расселись своей ротой в кустарнике по склону широкой балки, но пробыли там недолго времени.

Впереди нас, вверх по балке, оказался целый немецкий укрепленный район, и правый его фланг был в торфянике, где прежде жители копали торф.

— В воде мы с вами, дорогие мои, нынче спозаранку воевали, — сказал нам наш командир роты, — а в эту ночь мы будем в огне сидеть и из него бить врага!..

Мы тогда не сообразили его слов, мы подумали: «Ну что ж, конец, что ль, нам ночью будет?» Да не похоже, командир у нас со свечой в голове. Потом уж и нам понятно стало, что командир наш придумал совершить.

День отстоялся погожий; после обеда нас побомбила авиация — шесть «хейнкелей», но бомбили они наспех, понизу не ходили, и мы обошлись без потерь. А к

вечеру, к сумеркам, наша артиллерия с левого берега стала бить по немецкому укрепленному району, и уж была она расчетливо, каждый снаряд укладывала по живому месту, чтоб не зря пушки шумели. Торфяной площади тоже досталось огня, но не густо, а сколько надо. Торфяник почти сразу зачал от нашей артиллерии, там в залежи начался пожар, и теперь его ничем не уймешь. Это, стало быть, наш командир заказал нашей артиллерии такой огонь — где на сокрушение, а где на поджог.

Однако ночи мы не дождались. Пришел приказ, что нужно тут же после артиллерии идти на пролом всех укреплений неприятеля, и другие роты нам правят вслед через Днепр на подмогу.

Командир роты ставит задачу — немедля занять тот торфяник, что горит перед нами; в середину немецких укреплений пойдут наши танки, а за ними прочие наши пехотные подразделения, нам же надлежало занять немецкий фланг, торфяную залежь.

Поглядели мы, куда нам идти. До залежи было километра полтора; пройти, конечно, можно — тут и кустарник кое-где по балке рос, а где в рост идти нельзя, у солдата живот шершавый — можно и на животе ходить. Пройти местность можно, но торф горел, и теперь, когда чуть стемнело, явственно видно было красное пламя, которое языками выходило из земли, а над всею залежью чад стоял. По местности мы пройдем прохладно, а далее, как отвоюем торфяник, так там в огне нам нужно сидеть... Командир, товарищ Клевцов, сам угадал наше недоумение и сказал нам, что мы зря угара боимся; это немцы там, должно быть, угорели и уползли оттуда.

— А вы, товарищи, — сказал нам офицер, — вы меня знаете, вы в том огне гореть не будете и в торфяном чаду не угорите. Я сам пойду вперед, я научу вас, как надо там дышать. На торфе едва ли теперь немец остался, мы займем залежь и облегчим себе и другим подразделениям общую боевую задачу.

Мы молчим и слушаем, мы уже понимаем кое-что, каждый ведь человек имеет сознание, и он радуется, когда торжествует ум. Тогда и дураку видно, что он тому разуму тоже родня, хоть и дальняя.

— Слушайте меня, — говорил командир. — Огонь поедает воздух, он кормится им, огонь без воздуха не горит. Огонь сосет к себе понизу чистый воздух, и каждому из вас нужно найти себе место, где дышится безвредно и можно терпеть, и там следует находиться. Можно покопать «саперкой» и дать воздуху проход свободней — пусть пожар горит сильней, а ты прильни к потоку воздуха, как к ручью, и дыши вольно. Главное, пойми подробней свой ближний очаг огня и топи его, как печку, а сам дыши в поддувале. Жарко будет — раздеться можно, обсушимся, и в огне можно жить, но разуваться нельзя, портянки будем сушить в другом месте.

— Товарищ командир, — обратился связной, — по радио передали: «Сирень цветет!»

Командир дал команду — изготовиться к атаке.

Вышло правильно, по расчету нашего командира. Мы прошли свободно до самой торфяной залежи, и встречного огня оттуда не было. Зато трудно нам было миновать угарный дым на подступе к торфу, и мы там ползли низом, где шел чистый воздух на питание огня.

Торфяник горел большими очагами, как многодворная деревня, было шумно от огня и жутко. Немцы прорыли в торфе траншеи, и по дну их шел к огню свежий воздух из чистого поля, а чуть свыше измором курились дым и чад. С непривычки нам было жарко и нудно.

Пробыли мы там, должно быть, до полночи. К тому времени к нам еще целый батальон с левого берега подошел и тоже залег с нами. Немцы стреляли по залежи из артиллерии, но редко, для одного упреждения. Они думали правильно: кто в пожаре, в огне и в дыму будет жить!

В за полночь нам велели подыматься. Задача нам была — взять штурмом главное немецкое укрепление в этой местности. К этому часу бой уже гремел по всему району, и небо дышало заревом от залпов пушек: там уже бились в наступлении наши части, а мы пока стояли тихо.

По цепи нам передали слова командира: «Вперед, нас немец отсюда не ожидает. Направление такое-то, а там — вослед танкам. Отдышимся, бойцы, в чистом поле!»

Наши танки пришли за нами прямо на горящее болото, и мы пошли за ними. Немец встретил нас слабым огнем, он не ожидал, что русские выйдут к нему на фланг из пожара, где тлела земля.

Бой, говорили мне, там был совсем скорый, немцы легли от нас замертво, а какие отошли спасаться. Я-то как побежал за своим отделением — мы хотели проверить один сарай, что увидели на пути, — так почувствовал, что жизни моей тесно стало в моем теле, она наружу клокочет и кости мне рвет, я закричал от этой тягости и упал.

Меня ранило тогда в грудь насквозь. Пришлось болеть, потом выздоравливать.

Из госпиталя, как шел обратно в свою часть, я заходил в Замошье, к вдовице. Корова ее телушкой отелилась, дети живы и здоровы, сама хозяйка тоже ничего живет и видом подобрела. Чего ж ей: корова отелилась исправно, в деревне теперь покой, в сельсовет она заявление подала, чтоб детям одежду на зиму выдали... Я поговорил с вдовицей по душам. Она ответа мне не сказала, стесняется еще и обмана боится, но я понял, что после войны она будет согласна на жительство и на хозяйство со мной. Это ничего, мы обождем. От терпения серьезности больше и дело закрепнет надежней, а дети ее при мне сиротами не будут. Она это понимает: она вдовица умная. А чего ей еще нужно?

На мне две медали теперь и один орден. И сам я мужик не ветхий еще, и мне теперь во весь добрый свет ворота открыты.

1944

ПРОРЫВ НА ЗАПАД

Во время великого солнцестояния, в июне, ночи почти не бывает. Заря обходит землю с запада на север, с севера на восток, и вскоре снова восходит недавно зашедшее солнце. В те сутки, которые мы описываем, когда стоит самый долгий день в году, сияние света на небе не угасло и в полночь. Как только синий сумрак вечера коснулся сосновых лесов Белоруссии и стихло пение жаворонков над хлебными полями, так тотчас же немецкие рубежи осветились павшими сверху светильниками — ракетами. Это началась авиационная подготовка нашего наступления.

На освещенную сторону врага, на всю глубину его обороны, стали ложиться наши бомбы. Тысячи красно-черных языков пламени возникали из земли навстречу магниевому свету медленно снижавшихся ракет. Красно-черное пламя взрывов рвало в прах землю и выносило вон таящегося в ней врага, рассеивая его кости. Небо гремело, как медное, от непрерывного потока наших самолетов; из тылов с ними безмолвно разговаривали прожекторы и сигнальные ракеты, из траншей за ними радостно следили наши бойцы. Весь рубеж войны стоял в эти часы убранный с земли до небес разноцветным светом, и над ним звучала мощная музыка оружия и техники.

Смысл происходящего не противоречил этому торжественному зрелищу. Здесь снова началась битва добра со злом. И добро было вооружено сильнее. Смерть злу!

В эти же часы мы наблюдали жизнь в белорусских деревнях, освещенных заревом нашей авиационной атаки. В белорусских деревнях пели девушки, красноармей-

цы играли на баянах и поздно вела хозяйка свою корову ко двору. Все знали, в чем дело, никто не беспокоился за исход начавшегося сражения. Каждый знал, что раз мы начали бой, то будет и победа, и это так же было достоверно для всех, как то простое и великое дело, что земля рождает хлеб, или то, что если опытный плотник начал строить новый дом, то он его обязательно построит.

Немцы отвечали на нашу сокрушительную бомбежку фонтанами красного огня малокалиберной зенитной артиллерии. Так было почти всю ночь. Наши летчики громили противника, и поток самолетов не редел, а густел и учащался.

К утру погода ухудшилась, и род оружия был изменен. Против врага начала работать наша знаменитая артиллерия. Раньше говорили, что, дескать, наша артиллерия накрывает неприятеля. Это неточное представление. Не накрывает она неприятеля, а уничтожает его вовсе. Поэтому, как выяснилось позже, многие «опытные» немцы, только слышав голос нашей артиллерии, покинули траншеи и побежали.

Два часа работали советские пушки, и временами им помогали гвардейские минометы. Саперы под крышей своего огня строили переправы через первый водный рубеж — реку Проню. Разведчики — умом, смелостью, но не приложив своих рук, — создали переправы еще раньше. Они нашли удобные броды и для танков, и для пехоты. Наша артиллерия была не только по переднему краю, но на всю глубину немецкой обороны.

Два часа шло истребительное погребение врага в нашей земле. Позже, когда наши части прошли вперед, уже нельзя было установить, как тут все было до нас. Трупы немцев как бы по нескольку раз испытали смерть. Земля, смолотая и еще раз перемолотая огнем, перетерла тела врагов и смешала их с собою столь бесследно, что лишь по частям одежды можно узнать, что здесь пребывает кто-то посторонний. Из-под завалов блиндажей и дзотов можно все же видеть жалкие ноги в изношенных башмаках, ноги, желавшие растоптать нашу землю. И вот все это уже минуло: теперь мертвые враги лежат, а живые враги еще отступают, гонимые огнем.

После работы артиллерии пошли вперед бродами и переправами наши танки и наша пехота. Мы видели нашего пехотного солдата уверенным, обнаженным и спокойным. Что же его обнажило и что его успокоило? Есть великое военное искусство точного взаимодействия разных родов оружия на одном поле боя, — этот своего рода контрапункт, который в музыке необходим для композиции, для симфонии, а в битве — для решения поставленной задачи. И есть, оказывается, еще одно великое взаимодействие, которое тоже обеспечивает решение задачи, то есть победу, как и взаимодействие разных родов оружия. Это особое взаимодействие можно теперь отчетливо наблюдать в начавшихся битвах на полях Белоруссии, хотя, конечно, оно всегда существовало и прежде. Объяснил же его нам, как мог, но очень ясно, раненый в руку сержант Георгий Семенович Афанасьев. Он шел вместе с другими легко ранеными бойцами. Все они были усталые, покрытые землей, на них белыми были только повязки первой помощи. Однако у сержанта было довольное и даже счастливое лицо. Сержант Афанасьев сам объяснил нам свое состояние.

— Я скоро вернусь опять сюда, пойду вперед, — сказал он. — У меня кость не повреждена, одно мясо только обглодано, а мясо отрастет, а не отрастет, так заживет, и опять я буду воевать.

— А чем вы так довольны?

— Дело у нас идет. Самолеты у нас, пушки у нас, «катюши» у нас — всего много, бьют точно, выручают солдата. У меня дух радовался, когда я еще в окопе атаки ждал. Да и не у одного у меня! Потому что нельзя пропасть при такой силе и свободно можно победить неприятеля. А когда дух радуется у бойца, он оружием хорошо владеет, а раз боец в оружие душу отдает, то пушкам и самолетам надо только запевать, а уж допоем мы песню сами.

Афанасьев выразил мысль о взаимной связи красноармейского духа и мощи боевой техники. Сила самолетов, пушек, танков, действующая на глазах бойцов, возбуждает их дух, воодушевляет их сердца, увеличивает в них охоту к оружию и умение владеть им.

У нас перед боем, когда мы на самолеты глядели и пушки считали, у нас большое настроение и удовольствие было, — сказал сержант Афанасьев. — Народ машины из трудов своих строит и нас бережет, и мы за него, сколько нужно, столько и стоять будем, пока перед нами чисто от врага не станет.

Афанасьев пошел в госпиталь удовлетворенный. Он рассказал нам тайну победы, тайну взаимодействия народа и армии. Иначе говоря, тайну труда и любви народа, осуществленных в боевой технике, и впечатлительного, благодарного солдатского сердца, отвечающего своему народу отвагой и подвигом.

Шел первый день прорыва наших войск на запад, вглубь Белоруссии на могилевском направлении. С каждым часом все далее уходил наш огневой рубеж, все далее летели самолеты на бомбежку. Потоками по всем дорогам, малым и большим, стремилось вперед тыловое хозяйство наступающей армии, где было все — от иголки до звукометрических приборов, от пшена до библиотеки.

Но одна женщина шла по обочине дороги навстречу потоку людей и машин, испуганно сторонясь от всех. Мы узнали ее судьбу: Ефросинья Матвеевна Омелько шла из немецкой стороны. Она увидела прошлой ночью свет боя на небе и бежала от врагов. Одежда на ней была черной, как земля, кожа на лице ее была черной и старой, как земля, и только в чистых, доверчивых глазах ее была неистощенная надежда.

1944

МОЛОДОЙ МАЙОР (Офицер Зайцев)

1

Когда начались тяжелые бои за оборону Сталинграда, перед одним из соединений 51-й армии была поставлена задача. Она заключалась в проведении частной операции, чтобы сковать противника боем и не дать ему возможности направить часть своих сил отсюда, из степей, на усиление своих войск, штурмующих Сталинград.

Этот давно минувший и обыкновенный бой, который, возможно, будет забыт или обойден вниманием даже в подробной истории Великой Отечественной войны, имел одно особое свойство. Он был одним из первых, а может, самым первым боем, задуманным в районе Сталинграда как бой наступательный, а не оборонительный. Это стало известно бойцам соединения полковника Макарчука, и многие из них подумали тогда, что только теперь начинается настоящее дело и правильная война, а до того все было как в беспамятстве. Теперь же наступило время, чтобы опомниться.

Соединение, которым командовал полковник Макарчук, должно было выполнить лишь частную операцию, в которую входила задача по захвату пленных. Однако здравый разум рядового солдата понял этот бой как важное и новое дело, в котором мы будем бить, а не отбиваться.

Зайцев, как начальник артиллерийской разведки, должен был получить все данные для артиллерийской подготовки боя. Он обошел свое хозяйство и проверил, как артиллерийские офицеры и разведчики знают в своих секторах цели, как умеют обнаруживать их, насколько достоверно и точно изучены огневые точки противника, где

находятся его батареи пушек и минометов и как расположены траншеи. По особому, охотному отношению рядовых и младших командиров к исполнению своих обязанностей, по искусству их работы Зайцев увидел, что люди воодушевлены. Простое сознание пользы своего дела в наступательном бою оживило солдатское сердце.

Зайцев с тщательной точностью ставил задачи, чтобы люди правильно и осмысленно понимали свои действия; особенно усердно он занимался в артиллерийских группах, выделенных для поддержки пехоты.

Он рассказывал молодым артиллеристам, как может сложиться бой, когда пехота подымется в атаку.

— Пред вами оживут огневые точки, которые не подавила наша артподготовка. Противник пустит в работу новые точки, которые у него молчали, а мы их не сумели разведать. Он может бросить танки на нашу живую пехоту. Тогда все дело в вас. Двигайтесь вперед, работайте по цели прямой наводкой, берите цель в упор на поражение, не оставляйте пехотинца, чтобы он не был сиротой против пулемета, пушки или танка врага... Понятно, как действовать?

— Пехота при пушке как при матери идет, — сказал старшина Кутепов. — Боепитания лишь бы достаточно было.

— Будет достаточно, транспорт у нас есть, — сказал Зайцев, — а для ближней подноски у нас есть руки. А если с боепитанием неуправка случится, все равно двигайте орудие живьем вперед, и чтобы пехота вас видела — вы с нею!

— А ну как противник пристреляется по такому орудью! — произнес Кутепов. — Заметит, что орудие идет немое, без огня, чудно, скажет — и как раз в вилку его, а потом на поражение!..

Зайцев молчал; он хотел, чтобы люди сами подумали, как тут быть.

Сержант разведчик Чухнов возразил Кутепову:

— А зачем так двигать орудие, чтоб тебя так точно противник пристрелял? Ты его двигай по-разному! У тебя на плечах тоже прицельный прибор есть — голова, пусть она работает. Орудие и то работает своим прибором перед огнем, а без головы какой боец бывает, он загодя покойник!

— Это правильно, — согласился Зайцев. — Ну, теперь жить можно, будем воевать!

2

Павел Зайцев получил письмо от брата Ильи. Давно уже они потеряли друг друга, но Илья кружными долгими путями все время разыскивал брата Павла. Видно, он посылал письма во множестве по всем направлениям, по разным полевым почтам, где мог, по слухам, по справкам и по догадке, оказаться Павел. Илья писал коротко, потому что, должно быть, каждый день составлял по несколько таких писем и мало надеялся, что хоть одно из писем дойдет когда-нибудь до брата. Но любовь его была терпелива и заставляла непрерывно действовать, чтобы найти брата где-либо за тысячи верст и получить от него ответную весть.

Илья был моложе Павла на два года, но от доброты своей он всегда казался более старшим, потому что первым делал доброе дело, подобно старику, который от близости смерти уже не считался со своей пользой и не заботился о правилах обыкновенной расчетливой жизни. Он писал Павлу, как если бы приходился ему матерью: «Здравствуй, дорогой любимый Паша! День и ночь я думаю о тебе, усну и проснусь с одною мыслью в уме и в сердце, где ты, наш Паша, жив и здоров ли, либо уже нет тебя на свете, и горько плачу, лучше бы я погиб, а не ты. Береги себя, ты еще нам нужен и всей Родине. Как жить без тебя? Отзовись мне, Паша, хоть короткой вестью о себе,

что ты живой, только всего, и своим почерком распишись. А о себе пишу, что я жив и здоров, три раза был ранен, воевал в Эстонии, а теперь нахожусь рядовым бойцом на Карельском фронте. Полевая почта... Кланяюсь тебе и целую, до скорой радостной встречи, остаюсь твой брат Илья».

— Бедный Илья, — вспомнил Павел Зайцев о брате, — пишет мне: береги себя, а сам уже три раза ранен. Он за меня там старается воевать, чтоб я целым остался. Чудак ты, брат мой...

Он хотел немедля ответить брату большим письмом и в предчувствии того, что он будет писать, ему стало хорошо на душе. Он хотел вспомнить в письме об отце и о матери, о детстве в Сибири, о вековой сосне, что росла у тракта, уходящего из их Велистова в тайгу, о разных явлениях, уже исчезнувших или существующих, никому, быть может, не дорогих и не нужных, но которые были свидетелями их детства и остались в памяти живыми и милыми на всю жизнь.

Зайцев хотел уединиться и отдохнуть за письмом; он пошел в землянку, где спали связисты, и там начал писать письмо, но окончить его он не успел: за ним пришел вестовой из штаба начальника артиллерии армии. Зайцеву приказано было явиться в штаб. Он спрятал письмо брата без ответа, заложив в него свое начатое письмо, и пошел по вызову.

В штабе артиллерии Зайцев вместе с другими старшими офицерами увлекся работой. Он любил штабную работу, особенно он любил разработку разведывательных данных, в которых, по его мнению, всегда была скрыта тайна решения боевой задачи.

До полуночи Зайцев работал в штабе. Начальник штаба сам затем проверил схему расположения огневых средств противника, его окопов, укрытий и ходов сообщения, которую Зайцев начертил на карте. Все это был живой материал для обработки его огнем нашей артиллерии.

— Вы думаете, здесь все есть? — спросил начальник штаба. — Вы уверены, что всю натуру вам удалось разведать и нарисовать на карту?

— Нет конечно, — ответил Зайцев.

— То-то, что нет. Хорошо, что вы это понимаете... А вот то, чего нет на карте, но что есть в природе, как мы будем уничтожать те цели?.. Имейте в виду, нам задание жесткое и точное — подавить огнем все цели, чтобы пехота пошла свободно, чтоб ее не прижал противник к земле в направлении нашего движения. У вас есть какое предложение на этот счет или нет, вы не подумали?

Зайцев подавил в себе тяжелое, постоянно повторяющееся чувство самолюбия. Его обидело, что начальник штаба задал ему такой вопрос, тогда как первой честью советского офицера он считал — никому не быть ни в чем обязанным: ни в деле, ни в мысли, ни в судьбе и счастье; он считал, что следует делать самому все, что тебе положено, и сверх того, что положено, — пусть тебе все другие будут обязаны, весь народ, в этом и есть твоя служба. Быть же кому-либо и чем-либо обязанным — значит уже не выполнять своего долга и забывать о чести, значит жить за чужой счет. Это чувство у Зайцева было самым острым чувством его жизни, и оно делало его иногда, когда он не мог сдержаться, резким в поведении и неприятным для людей. Случайно или естественно, но и сама наружность его соответствовала его характеру: он был сух, худощав, прост и ловок в движении и довольно красив, хотя и неприветлив на лицо; только улыбка, кроткая до беспомощности, обнаруживала его расположение к людям вместе с ним работающим на войне.

Он ответил начальнику штаба, что необходимо усилить артиллерийские группы сопровождения пехоты, смелее применять прямую наводку по видимым и внезапно появившимся целям.

— Пушка все же не винтовка, — размышлял начальник штаба, — не смешиваете ли вы их службу?

— Подвижная пушка, работающая на прямой наводке, лучше обслужит пехоту, — ответил Зайцев. — Да и если бы нам удалось разведать все точно о противнике, то все равно в бою, товарищ полковник, в течение боя противник создаст новые огневые точки и гнезда или переместит старые, и тогда только наша подвижная артиллерия, которая будет действовать по этим целям в упор, сумеет их подавить... А не подавим, мы вскроем их, засечем и дадим данные тяжелым дальнобойным, и те нам помогут... Вот как будет!

— А потери? Сколько будет потерь в орудиях и расчетах?

— Меньше, чем если мы не решим задачу, товарищ полковник.

— Мысль тут есть. Надо подумать и посчитать. Так, говоришь, гуце надо пушек в ряды пехоты?.. Ты бы вот сведений о противнике давал погуще... Ну ладно, не обижайся, Павел Петрович.

Тогда опыта наступательных боев было мало и трудно было судить наперед о пользе какого-либо простого тактического приема, пока его не испробуешь, и не один раз и не в одном месте испробуешь. Но Зайцев слышал от бойцов, читал о боях под Москвой и сам понимал, насколько способней пехотинцу идти вперед против огня, если и своя пушка следует невдалеке и бьет огнем, прорубая дорогу солдату и обороняя его.

Возвращаясь по балке к себе в землянку, Зайцев видел над собой серое сумеречное небо осени, унылая опустевшая природа лежала вокруг него. Неужели отсюда, из этих скудных степей, мы начнем свою победу? Нельзя этого предвидеть. Победа зародилась и под Москвой, а затем неприятель дошел до Волги, до прикаспийских пустынь.

Вечером в соединение полковника Макарчука прибыл артиллерийский полк майора Симоненко. Полк должен поддерживать и сопровождать пехоту Макарчука. Это удивило и обрадовало Зайцева. Он понял, что наверху, в штабе фронта, кто-то думает так же верно, как и он.

Утром наша артиллерия враз открыла огонь — каждая батарея по своей цели. Отдельная группа батарей повела отсечный огонь — по ближним тыловым коммуникациям противника и по его флангам. Этот огонь как бы окаймлял группу противника, назначенную к уничтожению войсками и пушками Макарчука и Симоненко.

После артиллерийской подготовки бойцы Макарчука пошли вперед. Пушки сопровождения и противотанковые орудия Симоненко также двинулись в рядах пехоты.

Зайцев находился в это время на наблюдательном пункте начальника артиллерии дивизии. Сейчас он жил тою жизнью, какой любил жить, — когда ему не нужно было ни курить, ни пить, ни есть, и если бы ему причинили внезапную боль, он бы не ощутил ее. Бой, который он наблюдал, живым содрогающимся чувством проходил через его сердце и сознание, и это единственное чувство вытеснило из него прочь все обычные желанья, страсти и помышления. Бой, словно взрыв, открыл для него замкнутый дотоле, молчаливый мир, и теперь все, что есть на свете, знакомое и неизвестное, быстрым потоком проходило через него, заставляя переживать во мгновение то, чего он, живи в других условиях, не пережил бы за целый век.

Чувством и воображением Зайцев весь был в том деле, которое происходило пред его взором; он сейчас не помнил самого себя и не имел никакого личного, отдельного интереса, кроме общего интереса — решения боя победой. Он сам называл такое свое состояние полной жизнью, понимая под этим яростное счастье, которое он чувствовал в бою, и точное, быстрое, как бы веселое соображение о всех предметах обстановки боя.

Четыре огневые точки упорно жили в центре и на правом фланге противника. В центре были только два тяжелых пулемета, а на правом фланге действовали два ору-

дия довольно большого калибра, судя по шлейфу пламени, исходившему из ствола после выстрела. Зайцев проверил: у него не было данных об этих огневых средствах противника. Либо противник создал их лишь сегодня в ночь, либо наша разведка не сумела обнаружить их признаков на местности.

Полевые пушки и противотанковые орудия били по этим действующим точкам, но они не переставали работать. Наша пехота шла безостановочно, и бойцы по большим кругам обходили эти действующие огневые точки противника, чтобы двигаться далее вперед. Это было умное решение командиров и солдат атакующих подразделений.

Зайцев нанес на карту на своем планшете точное положение четырех источников огня противника.

— У нас в вашем распоряжении есть дивизион тяжелых орудий! — обратился он к начальнику артиллерии дивизии.

— Я не забыл о нем, — ответил начальник артиллерии. — Вокруг этих точек, может быть, залегли наши пехотные цепи. Так оно, должно быть, и есть. Отсюда в трубу не разглядишь, а через живую связь не скоро узнаешь.

— Можно накрыть точным огнем.

— Точным? Дивизион позавчера только прибыл, в нем новая матчасть, новые люди... Они так накроют!.. Там же близко наши люди...

— Разрешите мне — я рассчитаю им данные... Дивизион от нас в двухстах метрах.

Начальник артиллерии позвонил по телефону командиру дивизиона и затем сказал Зайцеву:

— Действуйте! Я буду следить. Осторожней только!

Зайцев побежал на дивизион. Его мучило сейчас, что орудия в дивизионе новые, расчеты не сработались между собой и с пушками и едва ли молодым артиллеристам известна практическая поправка погрешности на молодость пушечных систем. «Может, одной батарее мне хватит? — решал Зайцев. — Нет, времени нет, бой идет, у меня четыре цели, погрешность будет — не попаду. Нельзя сейчас огня жалеть, сразу бить надо».

В дивизионе было девять пушек.

Командир дивизиона сообщил Зайцеву, что две пулеметные точки противника подавлены огнем артиллерийского сопровождения, но две пушки еще действуют из прочных укрытий.

— Давайте дадим один пристрельный снаряд, учтем погрешность, а потом ударим на поражение! — предложил Зайцев.

Командир дивизиона улыбнулся.

— У нас системы свежие, не постарели еще... Я стрелял из них, каждый раз все разную погрешность дают, трудно вывести в поправку устойчивый коэффициент.

— Так зачем тогда вы здесь?! — вскричал Зайцев. — Раз вы знаете, что у вас за пушки, их надо заранее на тягу поставить и выкатить перед атакой на прямую наводку. Вы чем думаете, артиллерист? Теперь поздно — давайте вашу последнюю поправку... Вот где орудия противника, — он указал по своей карте, — мы дадим залп всеми тремя батареями по одной огневой точке, учтем результат и затем по второй точке — также залпом, всем дивизионом. Понимаете меня? Тогда погрешности отдельных орудий уравновесятся взаимно и хоть один снаряд мы положим в цель.

Так стрелять было невыгодно, но терпеть огонь противника по цепям нашей пехоты было вовсе не допустимо. После четвертого залпа дивизиона обе живые пушки врага умолкли и наблюдатели подтвердили поражение целей. Зайцев почувствовал жажду, точно вся внутренность его выгорела огнем и самое сердце его высохло в мертвый лепесток. Он попросил напиться. Ему принесли ковшик солончаковой воды, дру-

гой не было, ее не привезли из дальнего пресного колодца; Зайцев попробовал пить эту воду, но не смог и смочил ею лицо.

— Соленая вода! — сказал командир дивизиона и улыбнулся. — Пить нельзя!

— А что у вас можно? — рассерчал Зайцев. — Пушки у вас с погрешностью, вода с солью.

— Точно! — улыбаясь, согласился артиллерист.

«Вот черт, — подумал Зайцев, — он и умирая улыбнется...» Начальник артиллерии дивизии поблагодарил Зайцева за работу.

— Снарядов многовато порасходовали, ну ладно — отчитаемся, — произнес он в добавление к благодарности. — Как вам понравился командир тяжелого дивизиона?

— Не понравился, — сказал Зайцев. — Дело ваше, но артиллеристом он не будет.

— Пожалуй, что и так. Пусть идет в погрешность.

Поле боя уже было тихим. Начальник артиллерии сказал Зайцеву, что оперативная задача выполнена: взято много трофеев и пленных и занято село Садовое.

— Я нарочно спросил вас о командире дивизиона. Вы правы, он нам не нужен. Такую мне вчера теорию изложил о погрешностях и коэффициентах, что из новых пушек и стрелять нельзя. Пусть идет в пехоту.

— Пехота дело святое, зачем ее портить, — возразил Зайцев. — Там тоже человек должен воевать...

Они умолкли; вдалеке, уже на новых рубежах, звучали редкие винтовочные выстрелы, как последние капли дождя, что падают с листьев деревьев после грозы и ливня.

— Слушай, Зайцев, а ведь мы сегодня били противника, в общем, нормально! В первый раз, а ничего получилось!

Начальник артиллерии устало, но довольно улыбнулся и расправил спину, как рабочий человек, у которого зашло тело от работы.

— Ничего, — равнодушно сказал Зайцев. — А можно и лучше воевать.

— Можно-то можно, да сразу нельзя. А как, по-твоему, лучше?

— Лучше искать всегда ближний бой, терзать противника в упор. А мы привыкли к обороне, биться дальним перекидным огнем. У нас и сегодня артподготовка велась не очень прицельно. Вели огонь издали, с закрытых позиций, как будто это был заградительный, арьергардный огонь. Били, правда, ничего. Но что это? У нас еще ищут какой-то безопасности, берегутся, а надо искать врага...

— Это ты, Зайцев, прав. Но ты не горюй, мы научимся. Тебя немцы-то били?

— Били.

— Как следует били?.. Меня они лупили здорово, всей наукой и техникой лупили! — И начальник артиллерии захохотал, словно довольный тем, что его били как следует, не пустяком, но всей матчастью немецкой техники, а он все равно уцелел.

— Пусть они били нас! — злобно сказал Зайцев. — Били, да не убили, а не убили — мы их убьем...

Начальник артиллерии внимательно посмотрел на худощавого офицера разведки, на его жестокое в эту минуту лицо и не мог составить себе о нем ясного представления. «Трудный, наверное, и неприятный человек, но в деле будет хорош», — предположил полковник. Ему было странно, что неприятное, сухое существо может быть в своих делах полезным и добрым.

В ноябре 1942 года 51-я армия, еще свежая и не истощенная в больших боях, начала пополняться мощными средствами усиления. Прибывали артиллерийские и минометные части с новой техникой, причем бойцы были снаряжены как следует, одеты в новые шинели, у всех были кроме шинелей еще ватники или зимние полушубки, и обуты были в прочные кожаные сапоги, а в кирзовых сапогах или в башмаках с обмотками никто не пришел. Одновременно с войсками и пушками в армию шли потоки машин с боеприпасами, а в середине ноября прибыли на новых боевых машинах два танковых полка.

Зайцеву и всей службе артиллерийского наблюдения и разведки была поставлена задача — сделать точное начертание переднего края обороны противника, выяснить расположение его огневых точек и группировку артиллерийско-минометных средств.

Никому ничего не было известно. Даже старшие командиры не получили еще никаких директив и не знали точно, останутся ли средства усиления в 51-й, чтобы обеспечить успех большой операции, или они прибыли на время и уйдут дальше, или же вся армия будет перемещена на другой участок. Командиры не знали, но рядовой красноармеец, также ничего не зная, уже имел свое мнение об этих вещах.

— Никуда далее-более новые пушки не двинут! — говорили в расчетах на старых батареях. — Пушки на мехтяге по бездорожью шли, танки самоходом гнали, больше им ходить нельзя.

— Орудиям и танкам пешком вхолостую ходить убыточно! — соглашался старый артиллерист Евсей Карягин. — Механизмы тратить впустую нельзя, в них детали расстроятся. Тут бой будем держать!

— Да то где же! — утверждали другие артиллеристы. — Стратегически тут и должно быть. Пушки не игрушки и не автобусы — на них ерзать без дела по земле незаконно. При огне, при задаче — другое дело, тогда положено и пушке ходить...

Зайцев, исполняя свою работу, проводил теперь все свое время на наблюдательных пунктах в батареях и дивизионах, изредка, по надобности, наведываясь на наблюдательный пункт командующего артиллерией армии. До сих пор он так и не успел написать полностью письмо своему брату Илье. Он написал только начало его: «Здравствуй, дорогой брат Илюша! Я жив и здоров. Письмо я твое получил, хотел бы тебя увидеть и вспомнить прошлую жизнь, как мы в детстве в Велистове вместе...» — и на этом письмо было отложено, он не успел даже дописать слово «курили», потому что случилось неотложное дело: Зайцеву доложили, что начала работать батарея противника, которую наша, зайцевская, разведка вовсе не знала. Зайцев обиделся, что он не знал того, что ему знать положено, он спрятал недописанное письмо и пошел на наблюдательный пункт дивизиона. Почему, однако, это маленькое душевное дело в отношении брата он так и не может совершить и так долго откладывает его? Значит, брат его любит больше, чем он его? Но ведь это же постыдно, — чтобы кто-нибудь любил тебя больше, чем ты его.

Это действительно постыдно, а он не хотел ни стыда, ни одолжения. «Обожди, Илья, по нас пушки стреляют сейчас!»

«По мне тоже, Паша, бьют, а я все равно всегда помню о тебе!» — услышал Павел в своем сердце далекий заглушённый голос брата.

Но это прошло и забылось в одно мгновение. Враг бил из крупного калибра по ближнему тылу дивизии. Яростное, трудное чувство сразу сдавило сердце Зайцева. Что это было за чувство — сам человек не мог бы точно объяснить его, потому

что оно уже не было одним чувством, оно было тем, что владеет всеми чувствами человека и всю его жизнь, — оно было простым и страстным движением сердца, действующим с необходимостью, с силой и точностью мудрости, подобно движению сердца матери, бросающейся на зверя, чтобы оборонить своих детей. И поэтому Зайцев сразу забыл о брате, обо всех, кто каждый в отдельности был ему дорог и мил, и о самом себе.

Противник стрелял по степной впадине в глубине нашего расположения. Что там было? В дивизионе Зайцев застал своего помощника капитана Корецкого, который уже вел засечку стреляющей цели сопряженным наблюдением, то есть кроме Корецкого на точно измеренном расстоянии от него стреляющую цель одновременно наблюдал и другой разведчик.

Корецкий стоял у стереотрубы и вслух упрашивал противника, когда тот медлил с очередным выстрелом:

— Еще!.. Дай еще раз, ну, пожалуйста! Дай, я прошу тебя!

Корецкому важно было, чтобы противник больше обнаруживал себя огнем, тогда точнее можно рассчитать данные для своего огня на поражение врага. И после каждого выстрела противника капитан был доволен.

Зайцеву не понравилось, что немецкая батарея работает среди бела дня открытым и частым огнем, когда ее можно точно засечь. Не понравилось ему это потому, что противник, вероятно, сейчас же после огня передвинет батарею и вычисления Корецкого будут тогда иметь пустое значение.

Зайцев хотел думать и чувствовать скорее врага. Он позвонил начальнику артиллерии дивизии и попросил у него немедленного огня на поражение действующей цели, иначе цель уйдет, и передал ему местоположение батареи противника. При этом Зайцев попросил такого огня, который бы не демаскировал наших установок.

— Ладно, майор, — сказал полковник. — Я эту цель из самоходок шарашну, они стоят как раз удобно, а самоходки потом передвину.

— Скорее только, товарищ полковник. Цель уйдет, там тоже думают.

— Сейчас, сейчас... Сейчас им думать нечем будет.

После шести выстрелов наших самоходных пушек немецкая батарея умолкла. По мнению Корецкого, она накрыта и выведена из строя навсегда, но это еще надо было проверить последующим наблюдением и разведкой. Зайцев по своему военному житейскому опыту уже знал, как трудно полное, окончательное уничтожение чего-либо живого, это почти так же трудно, как создание или рождение нового, ранее не существовавшего.

Зайцев пошел на место, куда только что стрелял противник. Там, в заглохшей балке, в степном распадке, был полевой колодец с пресной водой. Возле колодца по всей ближней местности валялись пустые консервные банки, лежал конский навоз, на земле были видны масляные пятна от машин, которые останавливались здесь для набора воды, и зола от погасших костров. Невдалеке от колодца находился заброшенный блиндаж. Там сейчас сидели какие-то бойцы и пели песню:

Из войны на гражданку явлюся
И, быть может, тогда я женюсь.
Будет свадьба, на свадьбе напьюсь я
И на верность жене поклянусь...

Зайцев понял, что сюда следовали из тыла части усиления и отсюда, от колодца, они проходили к переднему краю. В некотором удалении от колодца стоял письменный стол, и на том столе были чернила в пузырьке, лежало одно дело в папке и бумаги, а за столом сидел, как в тихой канцелярии, офицер тыловой службы — регулировщик

и учетчик. Канцелярский стол стоял на возвышенности под небесами, окруженный обширной степью. Около стола была щель на одного-двух людей; туда, должно быть, укрывался тыловой офицер во время огня противника.

Колодец являлся тут учреждением, подобным столовой или трактиру при людной дороге. Наблюдатели противника, конечно, поняли значение колодца, накрыли его огнем и будут накрывать впредь. А стол офицера из тыловой службы по-прежнему стоял на виду, на поверхности земли, словно на полу канцелярии, и бойцы в блиндаже равнодушно пели песни. Ясно было, что, как только к колодцу подойдет из второго дивизиона наше подразделение, противник вновь откроет огонь. Хорошо, так случилось, что очередное подразделение уже проследовало и удалилось от колодца и во время огня здесь было безлюдно.

Зайцев почувствовал злобу от этой глупости и небрежности. Он подозвал к себе офицера-канцеляриста и приказал ему немедленно засыпать колодец, а самому вместе с бойцами убраться отсюда к чертовой матери, куда хочет.

— Есть, сейчас уйдем, товарищ майор, я только рапорт напишу своему командиру, что здесь был огонь и нас перебазировали вон отсюда, — ответил лейтенант.

— А сколько у вас людей?

— Всего четверо, я пятый.

— Хорошо. Убирайтесь все четверо и вы, пятый.

— Есть. Нас не будет, товарищ майор. Мы понимаем — здесь была ошибочная точка.

Лицо у лейтенанта было сейчас довольно и умильно от счастья исполнительности, на нем не было никаких следов чувства от только что пережитого огня; он был даже немного весел, словно постоянно был согласен бессмысленно переживать огонь, сидя в щели возле письменного стола.

«Наверное, хорошо быть таким», — подумал Зайцев и ушел.

Вечером Зайцев работал с Корецким над «проектом огня», как они называли материалы для артиллерийской подготовки предстоящего боя. Материалы артиллерийской разведки не всегда были хороши и достоверны, а некоторые данные были вовсе противоречивы. Например, по первоначальным данным разведки, в пункте 231 стояли две тяжелые батареи противника; две последующие контрольные разведки дали другие сведения, а именно, что там не тяжелые батареи, а легкие полевые и, наконец, — что там ничего нет, то есть пусто. Однако характер местности и удобное для ведения огня положение пункта 231 позволяли надеяться, что там именно должны стоять тяжелые пушки. Но что же там было по правде и что нужно сделать, чтобы пресечь огневую мощь противника в этом месте, когда наши войска пойдут вперед?

Зайцев рассудил, что в пункте 231 стоят как раз тяжелые системы, которые при надобности должны вести с нами контрбатареиную борьбу, но пока что эти орудия обречены на молчание. Однако для текущих повседневных задач обороны противник держал там же еще две батареи легких орудий, потому что по устройству окружающей местности их более негде было поставить. Возможно, что эти легкие батареи противник затем все же переместил, чтобы они не демаскировали тяжелые системы, и поэтому последняя контрольная разведка не обнаружила там и легких пушек: их действительно там уже не было.

Все это было логически правильно, но именно потому и являлось сомнительным. Истина могла быть неожиданной и проще.

Зайцев и Корецкий ничего не могли придумать и решили эту частную задачу артподготовки за счет «тылового Ивана», то есть за счет установки на всякий случай своей тяжелой батареи для подавления пункта 231, пользуясь тем, что великий «тыловой Иван», русский рабочий класс, работает, стволов и снарядов достаточно и пушки

можно ставить густо. Но это решение не нравилось Зайцеву, потому что в нем не было никакого его личного офицерского мастерства и он воспользовался лишь тяжелым трудом народа.

Пришедший навестить Зайцева капитан Кравченко, помощник начальника штаба артиллерии дивизии, также был озадачен тайной пункта 231.

— А вы пробовали вскрыть его по кровле? — спросил Зайцев.

— Пробовал три раза, — ответил Кравченко. — Одна черная земля летит, а камня и бетона незаметно было...

Кравченко нравился Зайцеву своей быстрой смысленностью, темными внимательными глазами и веселым уверенным расположением духа.

— А вот здесь ничего получилось, дело было с результатом, — сказал Кравченко. — Вот здесь у нас пресный колодец, противник его заметил и обнаружил себя огнем, но вы вмешались быстрее меня, товарищ майор, я не успел, — Кравченко засмеялся, — хотя все равно вышло хорошо... Но я хочу теперь вечером и ночью нарочно подсветить район колодца кострами: пусть противник думает, что мы все еще пользуемся колодцем, и ведет туда огонь, а мы будем наблюдать.

— Это расчетливо, — произнес Зайцев, — но неверно. Ведь мы уже подавили цель, стрелявшую по колодцу. Вы представьте, что у врага может быть такой же ход мысли, параллельно вашему. Что тогда получится?

Кравченко задумался.

— Трудно воевать, — сказал он, размышляя.

— Да, — согласился Зайцев, — но что же делать! В том и есть наша солдатская жизнь. От большого труда и чести больше.

И Зайцев опять склонился над оперативной картой, продолжая начертание переднего края обороны противника и рисуя расположение узлов его огневой мощи. Зайцев хотел дать в руки командующего артиллерией достоверное изображение врага, чтобы возможно было составить правильный проект артиллерийского огня. Зайцев хотел добиться, чтобы огонь велся не вообще по земле, где есть противник, а по конкретным целям, чтобы каждый наш снаряд имел свой точный адрес и калибром своим и действием соответствовал тому, что нужно разрушить или поразить.

4

Бой предстоял большой. Общей задачей боя являлось решительное поражение противника на участке армии, с тем чтобы противник начал отходить на запад и чтобы ослабить удары врага по Сталинграду.

В ночь перед боем Зайцев выехал из штаба армии на батареи. Он должен был видеть исполнение боевой задачи и руководить доразведкой противника в бою, чтобы подготовить материал для будущих сражений.

Кроме того, Зайцев любил быть с народом, с артиллеристами и разведчиками, это помогало ему лучше исполнять свои обязанности. Перед боем же только и должно жить каждому офицеру среди своих людей, чтобы подготовиться самому и приготовить бойцов к бою, ради которого существует офицер и солдат, ради чего народ долго поит, кормит, снаряжает и воспитывает солдата. Слава и гибель равно должны быть братским делом.

Ночь была не темной, а сумрачной, — видимо, за серым покровом осенних туч светила луна. Зайцев шел по лощине, где расположился только что прибывший стрелковый батальон.

Красноармейцы, устроившись на укромной земле, хозяйничали в своих вещевых мешках, наводя там порядок. Мешок для бойца служит как бы домом и двором

его: там хранятся все драгоценности солдата — письма от родных, пучок волос с головы дочери-ребенка, завернутый в бумажку, там же лежит запасная портянка, иголка, нитки, пустая жестянка — на то, если придется положить в нее что-нибудь, и прочее добро для всякой житейской и полевой надобности.

«Наши люди, — с теплым сердцем подумал Зайцев, — русские солдаты».

Зайцев зашел в шалаш из высохших лиственных ветвей, где жил командир отдельного взвода артрязведки лейтенант Лебеда. Лейтенанта не оказалось в его жилище. Зайцев в ожидании сел на пустой ящик, закурил и задумался. Группа разведчиков возвратилась из дивизиона и расположилась возле шалаша лейтенанта. Зайцев всех их знал, и теперь, слушая голоса, вспоминал их лица и фамилии. О чем говорят солдаты меж собой?

Сначала беседа шла по поводу одежды, еды, приварка, табака и прочей текущей нужды. Солдат любит заботиться о своей утробе, и в этой его заботе был не низменный, но существенный смысл, потому что лишь исправный здоровый боец способен действовать на войне, стерпеть ее тягость и не погибнуть по случайности болезни или по слабости. Солдаты, даже те, кто был небрежен и неряшлив в мирной домашней жизни, на фронте тщательно заботились о своем питании, о чистоте тела, о прочности одежды, о сне с запасом, когда можно было спать.

Затем, по степени важности, беседа перешла на другую жизненную необходимость — на любовь. Зайцев узнал по голосу младшего сержанта Пожидаева. Он читал сейчас вслух письмо. Получая очередное письмо от невесты, Пожидаев имел обыкновение читать его вслух своим товарищам и обсуждать публично.

Он гордился своей любовью, но еще более гордился тем, что есть один человек на свете, для которого он дороже и лучше всех на земле, и тот человек не переживет его смерти. Бойцы из взвода, где служил Пожидаев, уже привыкли к такому порядку и по получении почты сами просили Пожидаева прочесть им письмо вслух, загодя садясь возле него ремонтировать что-либо из своей одежды или обуви, чтобы использовать время с двойной выгодой. Пожидаев обычно охотно читал и предавался обсуждению письма. «За что же такое она тебя любит так, Иван Акимыч, скажи, пожалуйста?» — каждый раз спрашивали его товарищи. «Так зря же любви не бывает, — объяснял обыкновенно Пожидаев. — Сердце у Клавдии Захаровны чувствует меня правильно, понятно вам? Во мне такое качество ценности, стало быть, есть!»

Зайцев все это уже знал, и теперь он слушал очередное письмо Клавдии Захаровны.

— Любимый, хорьосенький, мильосенький мой Иван Акимыч, — медленно, почти по буквам читал Пожидаев, — здравствуй от твоей дорогой Клавдии Захаровны Пустоваловой из Завьяловского сельсовета, колхоза «Рассвет». Если бы кабы я могла бы увидеть бы тебя бы хоть на тую малую бы минуточку, тогда бы я бы стала жить бы по нормальности счастливой бы жизнью, а то я временно несчастная».

А чего она всегда тебе одинаково пишет? — упрекнул Пожидаева ефрейтор Ивченко. — Заладит одно: если бы да кабы, она бы да могла бы... Чего она у тебя такая некультурная?

— Если бы она бы семилетку полностью бы кончила, — кротко отвечал Пожидаев. — А то она ее не кончила, ей не пришлось... А мне что! Я ее уважаю не за высшее образование, я ее даром люблю. Это вам не химера!

— Правильно, Иван Акимович, — согласно говорили другие голоса. — Это верно; душа не в букве. Пускай она тебе опять пишет — если бы да кабы, мильосенький да хорьосенький, а мы и далее слушать будем!

Зайцев понимал, что красноармейцы и потешаются немного над Пожидаевым, и тут же серьезно уважают его за верность любви к невесте.

Был еще во взводе боец Салтанов, родом татарин, тот особо уважал Пожидаева. Салтанов сам любил одну женщину, свою жену Сарвар, и постоянно вспоминал о ней, надеясь на будущее неразлучное счастье с ней после войны, которое будет длиться долго, до самой смерти. Жена писала Салтанову, что она одна имеет на него полное право, а немцы не имеют на него никакого права, поэтому Салтанов обязан убивать врагов, сам же после победы должен полностью и в целости возвратиться домой к супруге. «Вот офицер-то! — с улыбкой подумал Зайцев о Сарвар. — Ведь правильно соображает!..»

И Зайцев сейчас снова, как бывало у него в юности, почувствовал жизнь словно медленное постепенное просветление. Тайна родины была ясна ему: она открывается в доконе волос с головы дочери-ребенка, что хранит красноармеец у себя в вещевом мешке и носит за плечами тысячи верст, она в памяти и привязанности его брата, постоянно тоскующего о нем, она в дружбе к товарищу, которого нельзя оставить в битве одного, она в печали по жене, у кого есть она. У Зайцева ее не было; вся тайна родины заключается в верности, оживляющей душу человека, в сердце солдата, проросшем своими корнями в глубину могил отцов и повторившемся в дыхании ребенка, в родственной связанности его насмерть с плотью и осмысленной судьбою своего народа...

Когда вернулся лейтенант Лебеда, Зайцев разделил с ним свои обязанности. Лебеда должен находиться на наблюдательном пункте дивизиона, расположенного слева, а сам Зайцев пошел к командиру другого дивизиона, расположенного правее. Все орудия этого дивизиона стояли на прямой наводке, и он занимал центральное положение в направлении удара, который будет нанесен противнику. Вместе с собою Зайцев взял как связных Пожидаева и Салтанова. Во время боя в его задачу входила работа по переучету целей, чтобы всегда иметь картину артиллерийских и огневых сил противника близкой к истине.

Кутру, когда начало светать, погода стала вовсе плохая. Осенние облака, гонимые сырým ветром, влеклись почти по земле, и одиноко летели редкие былинки умершей травы. Зайцев в это время стоял в старой траншее на водоразделе, откуда хорошо просматривалась сторона противника: немцы находились на противоположном водоразделе и на пологом скате его, обращенном в нашу сторону. Немного поодаль от Зайцева, в той же старой траншее, находился командир дивизиона капитан Ознобкин.

Зайцев много раз жил в боях. Но сегодня предстоял бой в помощь Сталинграду, где решалась судьба народа, жизнь его и смерть, и сердце офицера встревоженно билось, надеясь в нетерпении, что сегодня, быть может, оно освободится от гнетущей постоянной боли, которая мучает его все долгие месяцы отступления и обороны.

В тишине засветились на мгновение жерла орудий по фронту, и крошки земли в траншейном откосе вздрогнули от первого удара огня. Началась артиллерийская подготовка боя. Мощь огня сразу была взята очень большой, однако с каждой секундой она все более наращивалась и уплотнялась — в дело вводились все новые и новые батареи, — и снаряды шли по небу потоком. На стороне противника черная земля тьмою поднялась в воздух и не могла уже осесть, потому что взрывные волны следующих, все более учащающихся разрывов метали и тревожили ее.

Зайцев считал про себя каждое мгновение боя. Много раз пережитое и, однако, всякий раз новое чувство владело им; все, что сейчас происходило вне его: огонь, ветер, содрогание земли, — все значительное и ничтожное в этом мире теперь словно происходило внутри него, вторично в нем существуя, и поэтому глубоко, вещественно переживалось им. Это чувство происходящего, переживание всего и за всех в одном своем теле и сознании питало его мысль и делало ее чуткой, быстрой и истинной, но это состояние непрерывного непосредственного ощущения всей видимой действительности измождало Зайцева, и сердце его работало мучительно, будто в кровавом поту.

Немцы начали отвечать из дальнобойных орудий контрбатарейным огнем. Но их полевые пушки молчали: иные из них уже были накрыты нашим огнем, иные не обнаруживали себя в ожидании нашей атаки. Дзоты противника также еще молчали до времени.

Затем Зайцев увидел в бинокль, как затрепетал пулеметный огонь сразу из пяти дзотов противника. Наша артподготовка еще не кончилась, снарядов было достаточно, и приказано было вести подготовку на сокрушение целей с перестраховкой, с запасом на верность поражения.

Сейчас ожили и уцелевшие полевые орудия противника, встречая нашу пехоту осколочными снарядами. Зайцев рассмотрел в дыму открытого степного пространства движущиеся цепи нашей пехоты. Красноармейцы, накрываемые огнем врага, перебежали вперед лишь после долгих пауз и лишь в точности рассмотрев ближнюю местность перед собой, чтобы найти в ней очередное укрытие; приныкая к земле, они отдыхали и земля защищала их.

Салтанов, Пожидаев, ординарцы и связные капитана Ознобкина, наблюдая бой, произносили возгласы ярости, радости и сожаления, переживая все действия артиллерии и пехоты.

Зайцев знал, что на этом именно участке, который он наблюдает, и должен быть совершен прорыв обороны противника. Но он сейчас уже не мог разглядеть ни одного нашего пехотинца, движущегося вперед по степи. Наши пехотные цепи теперь вовсе залегли, не преодолевая встречного пулеметного и артиллерийского огня противника. Дивизион Ознобкина бил по дзотам врага, однако пока что лишь один из них удалось подавить, а остальные четыре действовали. Зайцев заметил, что орудия непосредственного сопровождения пехоты стреляли редко и двигались, далеко отставая от атакующих пехотных подразделений.

Зайцев ясно видел ход боя, но он сейчас более всего хотел увидеть и понять невидимое: он хотел увидеть или понять, когда наступит перелом сражения в нашу пользу. Он искал признака этого перелома и не видел его, но он уже понимал, что если этот перелом не наступит в ближайшее время, то наша атака захлебнется, пехота, залегшая под огнем противника, изойдет кровью и великая задача прорыва фронта врага не будет решена. Зайцев знал, что параллельно видимому бою и одновременно с ним происходит невидимое соревнование духа двух борющихся противников. И обычно бывает, что сторона, ослабевающая в этом соревновании, дает дрожание, являет признак гибели еще прежде окончания сражения. Дело военачальника уловить вовремя этот признак и использовать его для ускорения поражения противника.

Но не было еще этого духовного содрогания противника, и ни в чем не являлся признак его поражения. Мощь нашей артиллерии не использовалась целиком пехотой, время уходило...

Зайцев посмотрел через стереотрубу Ознобкина на осеннее поле: оно было в огнях стрельбы, в дымной наволочи, медленно уносимой ветром. Зайцев сосчитал, что противник сейчас сопротивляется нашей пехоте лишь огнем легких полевых пушек и легких пулеметов, следовательно, его тяжелые огневые средства и постоянные огневые точки подавлены, сокрушены в прах. Зайцев почувствовал удовлетворение: значит, его служба разведки работала довольно точно.

В бою сейчас доставало какого-то малого дела, но решающего. Без этого дела и та главная работа, что уже была сделана артиллерией, не приводила оперативную задачу к решению. Зайцев судил, конечно, только об одном небольшом участке боя, который он непосредственно наблюдал.

— Что говорит начальник артиллерии об обстановке? — спросил Зайцев у капитана Ознобкина.

— А что он говорит?.. Он ругается, он пехоту на нашем участке ругает. Везде, говорит, на других участках пехота хорошо пошла после огня, а у нас плохо.

Ознобкин позвонил в дивизию.

— Что вы думаете делать? — спросил Зайцев у капитана, когда тот окончил разговор по телефону.

— А что нам делать? Это не наше дело!

— Наше дело! — резко возразил Зайцев. — Артиллерия служит пехоте, а не самой себе.

— А что можно сделать, когда пехота желает, чтоб на поле ни одного огонька навстречу ей не осталось, чтоб ей можно гулять было, как в парке культуры и отдыха, тогда она подымется и пойдет... Разбаловались люди в обороне!

— Вон как вы рассуждаете... Ну нет! — не согласился Зайцев. — Ты видишь, что люди не справляются, тогда бери их заботу на себя!

— А у меня своя есть! — удивился Ознобкин.

— Да кто вы здесь — офицер или чиновник! — крикнул Зайцев.

Он позвонил в штаб артиллерии дивизии и попросил обратить внимание на плохую работу орудий сопровождения пехоты на своем участке. Ему ответили, что там ранен командир батареи и есть потери в расчетах. Тогда Зайцев заявил, что он пошлет на батарею сопровождения своего помощника, лейтенанта Лебеду, или сам станет командовать батареей на время операции. Начальник артиллерии согласился:

— Соскучился, что ль, без пушки жить?.. Я знаю, ты артиллерист головастый! Ну что ж, ступай, раз сам хочешь. Лебеду я твоего не знаю, ты сам иди. Только расчеты пополнить сейчас не могу, обойдись с теми людьми, кто там остался.

— Я своих людей возьму, — сказал Зайцев.

Он взял с собой Салтанова и Пожидаева и позвонил Лебеде, сказав ему, что пойдет на разведку вперед и пусть вслед ему Лебеда пошлет шестерых своих людей, из тех, что раньше служили на батареях в расчетах.

Зайцев поспешил вперед, и Пожидаев и Салтанов побежали за ним по тревожному холодному полю на огневой рубеж.

На батарее остались три годных орудия, четвертое было повреждено, а из расчетов выбыло по ранению пять человек.

Назначив на усиление расчетов Салтанова, Пожидаева и прибывших вслед людей из взвода Лебеды, Зайцев приказал катить вручную орудия вперед. Огонь противника был жесток и плотен, а источники его менялись на местности. Наша пехота, отрыв ячейки, таилась в них. Ее беспокоил более всего огонь пулеметов противника, которые часто перемещались, чтобы затруднить пристрелку по ним, а взамен уничтоженных нашим огнем пулеметы возобновлялись из резерва.

Зайцев с командиром взвода управления засекал действующие пулеметные точки и, останавливая пушки, давал огонь залпом, затем опять приказывал двигать орудия вперед — мимо внимательных глаз своей залегшей пехоты. При этом Зайцев велел двигаться каждому орудию по неправильной линии, не считаясь с удобством и легкостью пути, с тем чтобы враг не мог уловить следующего хода пушек и пристреляться по ним из артиллерии; в исполнении этой хитрости движения Зайцев полагался на разум и находчивость командиров орудий.

Всего Зайцев приказал дать с ходу четыре залпа по пулеметам противника, которые секли очередями землю, где залегла наша пехота, и два пулемета были накрыты. Затем командир взвода управления батареи младший лейтенант Лукашин доложил Зайцеву, что далее, стало быть, двигаться нельзя и следует остановиться на позиции: дальше нашей пехоты нет и начинается пустая земля, за которой находится противник.

Зайцев посмотрел в спокойное разумное лицо Лукашина и пришел в ожесточение.

— Приказываю по-прежнему двигаться вперед — на ручной тяге!

— Впереди пехоты — с пушками, товарищ майор?

— Точно. Впереди пехоты пушками пойдём.

— Есть.

— Стрелять каждому орудию по одному, слева направо — по пулемету на высоте водораздела у голого куста. Вы видите?

— Ясно вижу! — подтвердил Лукашин.

— Гранатой. По пулемету. По одному снаряду. Наводить по горизонту водораздела. Огонь!

Пушки сработали одна за другой.

— Вперед! Быстрее двигаться! — приказывал Зайцев.

И пушки на руках расчетов пошли далее вперед по пустой земле. Пулеметные очереди врага струями били в щиты орудий: тогда люди, тянущие и толкающие шершавыми терпеливыми руками спицы колес, залегали на мгновение к земле, покорные быстрому верному инстинкту жизни, и, вставши, опять напрягались в работе.

Во время движения Лукашин, подбежав к Зайцеву, доложил, что наводчик Сергиенко ранен в голову, а младший сержант Пожидаев убит сразу за мертво.

— Заплачет теперь Клавдия Захаровна Пустовалова, колхоз «Рассвет», Завидовского сельсовета, — вслух подумал Зайцев.

— Я не понял, товарищ майор, — сказал Лукашин.

— Ничего, товарищ Лукашин... Это кто?

Лукашин поглядел направо и налево. Мимо орудий Зайцева, уже опередив их, бежала вперед наша пехота с автоматами и винтовками. В возбуждении они кричали что-то и слушали голоса друг друга, подкрепляя этим самих себя.

— Наша пехота поднялась! — сказал Лукашин и в волнении снял шапку. — Это мы их подняли, что пушками вперед пошли, товарищ майор. Они все видели, и их совесть подняла.

— Не знаю, — произнес Зайцев, скрывая свою радость. — Наши бойцы и сами могут ходить, приучить надо было.

— С пушками всегда лучше.

— Стать пока на месте! — скомандовал Зайцев. — Рассчитать цели на поражение прямой наводкой!.. Вызвать ездовых с лошадьми!

Зайцев загляделся вперед — на цепи нашей пехоты, атакующие водораздел, идущие с огнем и штыком. Переднее, штурмовое подразделение уже миновало водораздел и ушло по ту сторону высоты. Зайцев проследил взором путь одного бойца. Большого роста красноармеец бежал неторопливо вперед, иногда он припадал на колено и стрелял из винтовки, изредка с размаху бросался к земле и, без спешки поднявшись, опять мчался вперед, не суетясь, осторожно избирая себе дорогу, держа оружие в спокойных руках. Действуя в бою как на работе, не содрогаясь и не спеша, красноармеец, однако, уходил вперед, на северо-запад, сноровисто и скоро, и легко несла его мощная телесная и душевная сила. Зайцев подумал, что этот большой солдат далеко пойдет, он дойдет до самого конца войны и назад домой вернется после победы.

Когда он скрылся за водоразделом и стало вдруг тихо на окрестном поле, где до того шел бой, Зайцеву показалось, будто окончилась вся война.

Он понимал, что война еще не кончилась, а только началось, должно быть, наше главное наступление. Но пусть война будет еще долгой, решение ее уже стало видным в далеком тумане времени, потому что мы научились бить врага смертельным огнем и ходить вперед.

Позже, сдав командование батареей прибывшему старшему лейтенанту, Зайцев проехал на машине далеко вперед вместе с начальником штаба артиллерии дивизии. Он увидел разбитые батареи пушек и минометов противника, сотни трупов чужеземцев и встретил колонны душевно подавленных пленных, шедших на восток, в безлюдную степь, с опущенными головами.

Начальник штаба сказал Зайцеву, что фронт противника прорван, враг беспорядочно отходит на запад и наша армия за сегодня выполнила задачу двух дней, то есть за нынешний и завтрашний день.

В штабе армии, куда возвратился к вечеру Зайцев, все офицеры работали, как и прежде, с сосредоточенным напряжением, но каждый из них таил в себе одухотворенную радость победы. Это сказывалось в их редких словах друг к другу, в особой энергии к работе и в доброжелательности сердец. В сущности, они все бы хотели сойтись за общим столом, чтобы разделить радость друг с другом, выпить по стакану вина, отдохнуть в чувстве солдатского братства, но некогда было, еще длилась и предстояла долгая война...

Однако Зайцев уверенно чувствовал — и, он думал, так же чувствовали и другие, — что главное дело войны — начало победы — уже свершилось сегодня в течение нескольких часов. Это случилось, когда наш точный и мощный огонь артиллерии накрыл врага и подорвал его силу, когда наша пехота пошла впервые от Волги на запад, и пошла рабочим, рассчитанным шагом, пошла надолго и безвозвратно. И когда, наконец, он, Зайцев, обычный красноармейский офицер, испытал свое мужество и умение и они оказались достаточными для поражения противника. Зайцев понимал, что в действительности еще не случилось большого разгрома врага, но в душе его и в духе войск уже родилась победа, зачатая в трудном бою...

Он вспомнил брата Илью: надо написать ему письмо или окончить то, которое он начал писать, — нельзя быть должным ему братской любовью. Хорошо это было или плохо, но Зайцев не терпел, чтобы его любил кто-нибудь больше, чем он сам любит, даже будь это брат.

Он пошел в свою землянку и сел за письмо при коптилке. Но и на этот раз письмо окончить не удалось: от усталости Зайцев заснул, решив дописать письмо утром, а утром приказано было перемещаться всему штабу вперед.

Спустя же недолгое время письмо к брату уже не нужно было отправлять.

В одном сожженном хуторе, где разместился штаб армии, целых полдня ходил следом за Зайцевым какой-то красноармеец, не смея подойти близко. Зайцев заходил по делам в полуразрушенные хаты и сараи, где работали штабные люди, встречал знакомых офицеров и беседовал с ними, позавтракал у полковника и выпил водки, а рядовой боец все время следил за ним из отдаления и ожидал, когда Зайцев останется один.

Потом он подошел близко к Зайцеву и сказал ему:

— Паша, я к тебе пришел...

Зайцев посмотрел на красноармейца со шрамом от ранения на родном, знакомом лице и обнял брата Илью.

— Как же ты нашел меня и добрался сюда? — спросил затем Зайцев у брата.

— Так и пришел я. Паша, к тебе, — смутился Илья. — Воевать везде одинаково надо, что на севере, что здесь... Нас целая команда сюда прибыла. А в команду я попал — долго тебе рассказывать... Я соскучился по тебе, жить не мог, оттого и придумал, как служить близко от тебя, чтобы хоть редко видеться можно...

Зайцев обнял брата, и тот приник лицом к его груди. И это доброе, верное, любящее сердце младшего брата Зайцев так же должен был сохранить от врага живым и невредимым, как он должен сохранить сердце всей России. Он понял сейчас, что звание офицера — это имя старшего сына своей Родины, отвечающего за ее жизнь.

С тех пор прошло время, и окончилась война. Много выдержал и вытерпел Павел Зайцев и многому научился, чему нельзя научиться нигде, кроме войны, где смерть может явиться как долг и обязанность воина, и близость к ней освещает жизнь. Не раз кровь лилась из тела Павла Зайцева, и, чтобы не потерять сознания от слабости, он приказывал ординарцам громко разговаривать с ним: он не хотел забываться.

Много было, и все бывшее теперь миновало. Но высшие, главные дни боевой жизни Зайцева были те, о которых здесь рассказано; в эти минувшие дни, несчастные и счастливые, Павел Зайцев почувствовал себя воином на весь свой век, тогда он в донской и волжской пустой степи перешел через первую вершину своей жизни. Это была, вероятно, не самая большая высота в его жизни: он еще молод, ему, быть может, предстоит пройти через более высокие перевалы своей судьбы, кровно связанной с участью своего народа и человечества. Этого не знает гвардии полковник Павел Зайцев, но он готов принять и мирное счастье жизни, и новый смертный подвиг во имя ее.

Сейчас он внимательно всматривается в будущее мира, ради которого он и его сверстники и друзья годами шли против смерти; он ревниво следит, чтобы разбитые огнем врага, охладевшие сердца его павших товарищей оставили после себя на земле тепло счастья и свободы.

1946

Примечания к рассказу «Бессмертие»

«Бессмертие». Первоначальный вариант рассказа, названный «Красный Лиман», опубликован в журнале «Колхозные ребята» (1936, № 4). Впервые под названием «Бессмертие»: «Литературный критик», 1936, № 8. Вошел в сборник рассказов 1937 года «Река Потудань». До настоящего времени не переиздавался.

Необычным литературным явлением стала в свое время публикация «Бессмертия» вместе с другим рассказом писателя — «Фро» — в журнале «Литературный критик», сыгравшем важную роль в судьбе А. Платонова. С 1931 по 1936 год писатель практически находился в литературной изоляции. На помощь ему пришел журнал «Литературный критик» и его сотрудники: Е. Усиевич, И. Сац, В. Александров и др. Со второй половины тридцатых годов Платонов публикует в этом журнале литературно-критические статьи и рецензии, в частности статьи о Пушкине, Горьком, подписывая их псевдонимами «Ф. Фирсов» и «А. Человеков». Желая помочь талантливому писателю, редакция журнала даже напечатала два рассказа Платонова, хотя до того художественные произведения не появлялись на страницах «Литературного критика». Исключительность данной публикации объяснялась в предваряющей рассказы редакционной статье «О хороших рассказах и редакторской рутине». Однако заступничество журнала не помогло. Новые рассказы Платонова, а также вышедший в 1937 году сборник «Река Потудань» вызвали новую волну недоброжелательных отзывов в печати. На этот раз писателя обвиняют в проповеди индивидуализма, в воспеании одиночества и смерти, в апологии страдания и мученичества; его гуманизм называют «фальшивым» и т. д. И это при том, что Платонов по-прежнему решал все ту же гуманистическую задачу: благо всего общества и счастье отдельного человека.

В названии рассказа обыгран один из тезисов ранней публицистики Платонова, возникший в определенной мере под влиянием философии Н. Ф. Федорова: революция есть путь к достижению всеобщего бессмертия.

Н. Дужина